

БИОГРАФИИ РУССКИХ
И
ИНОСТРАННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

Д. КИРЕЕВ

А. П. ЧЕХОВ



1929

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО



Отпечатано в типографии Госиздата
„КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ“
Москва, Краснопролетарская, 16,
в количестве 10000 экзempl.
Главлит № А — 37736
Гиз X — 51 № 31471
Заказ № 9166.

3³/₄ п. л.

★

ЖИЗНЬ ЧЕХОВА

Автобиография.

«Родился я в Таганроге в 1860 году (17 января). В 1878 году окончил курс в Таганрогской гимназии. В 1884 году окончил курс в Московском университете по медицинскому факультету. В 1888 году получил пушкинскую премию. В 1890 году совершил путешествие на Сахалин и обратно морем. В 1891 году совершил турне по Европе, где пил прекрасное вино и ел устриц. В 1892 году гулял на именинах с В. А. Тихоновым. Писать начал в 1879 году в «Стрекозе». Сборники мои суть: «Пестрые рассказы», «В сумерках», «Хмурые люди» и повесть «Дуэль». Грешил и по драматической части, хотя и умеренно.

Переведен на все языки, за исключением иностранных. Впрочем, давно уже переведен немцами. Чехи и сербы тоже одобряют. И французы не чужды взаимности. Тайны любви постиг я, будучи 13-ти лет. С товарищами, как врачами, так и литераторами, пребываю в отличнейших отношениях. Холост. Желал бы по-

лучить пенсию. Медициной занимаюсь и даже настолько, что, случается, летом произвожу судебно-медицинские вскрытия, коих не совершал уже года 2—3. Из писателей предпочитаю Толстого, из врачей Захарьина.

Однако все это вздор. Пишите, что угодно. Если нет фактов, то замените их лирикой...

Эта автобиография, написанная Чеховым по просьбе близкого ему человека, беллетриста В. А. Тихонова, несмотря на целый ряд ценных указаний, которые она в себе содержит, все же является прекрасным образчиком того, как не должны писаться биографии.

В самом деле. Если устранить из нее шуточный тон, несомненно продиктованный Чехову свойственной ему скромностью, то что, собственно, в ней останется! Ряд хронологических дат и голых фактов, которые совершенно не могут удовлетворить человека, желающего познакомиться с личностью художника-писателя, — и только. Что же касается «совета» Чехова отсутствие фактов заменить лирикой, то он должен быть отброшен самым решительным образом не только как не полезное, но и как безусловно вредное средство.

Никакой лирики, только факты, но факты не голые, а достаточно освещенные и обоснованные — вот что должно быть девизом для биографа.

С этим девизом мы и постараемся подойти к рассмотрению жизни и творчества А. П. Чехова.

Происхождение.

Чехов сам указывает нам точную дату своего рождения: 17 января 1860 года. Но дело в том, что если речь идет не о простом обывателе, о котором, пожалуй, только и можно сказать, что он родился тогда-то, а умер тогда-то; если речь идет о человеке, оставившем после себя тот или иной след в общественной жизни, так или иначе влиявшем на нее и в свою очередь на себе испытывавшем ее влияния, то такого указания совершенно недостаточно. Выражаясь несколько фигурально, можно сказать, что «рождение» человека, закладка фундамента его мировоззрения, идеологии, характера — всего того, что, собственно, и обозначает собою личность человека, начинается гораздо ранее его появления на свет. Для уяснения же всего этого огромнейшее значение имеют данные о происхождении, о предках, о принадлежности их к тому или иному классу, об участии их в общественной жизни, бытовом укладе и т. п., так как это оказывает очень большое влияние на личность того, кто интересуется нас непосредственно. Вот почему мы, не ограничиваясь указанием Чехова на день и год его рождения, непременно стараемся заглянуть и в годы более ранние.

Чехов был не из тех людей, предки которых записывались в родословные книги, он вышел, как еще недавно говорилось, из народных «низов». Поэтому вполне понятно, что мы ничего не знаем о его пращурах и прадедах. Только

о деде его, Егоре Михайловиче Чехе, нам известно, что он был крепостным крестьянином, воронежским уроженцем, из села Ольховатки. «Моя фамилия,—писал сам Чехов,—ведет свое начало из воронежских недр, из Острогожского уезда. Мой дед и отец были крепостными у Черткова, отца того самого Черткова, который издает книжки».

В этом сведении есть некоторая неточность: крепостным у Черткова был только дед Чехова, человек очень энергичный и предприимчивый, скопивший с очень большим упорством нужную сумму денег и выкупившийся на волю. Отец же его был уже человеком свободным. Но что род Чеховых вышел из крепостного крестьянства, это во всяком случае несомненно. Однако это факт, из которого нельзя делать поспешных, легко напрашивающихся выводов о свободолобии, ненависти к рабству и т. п., и к которому нужно очень внимательно присмотреться.

Дело в том, что выкуп крестьянина на волю, да еще с семьей, был далеко не легким. На это требовались очень большие для крестьянина деньги. Известно, например, что Егор Чехов при выходе на волю должен был уплатить Черткову 3500 рублей, сумму, особенно по тогдашнему времени, очень значительную. Добыть такую сумму, занимаясь крестьянским хозяйством под гнетом неволи, было не только трудно, но и просто невозможно. Поэтому, когда мы говорим о тысячах рублей, уплачивавшихся иногда кре-

постными крестьянами за свое освобождение, в том числе, конечно, и о тех 3500 рублях, которые отдал за это дед Чехова, то приходится думать не о крестьянском труде и хозяйстве, а о чем-то другом, обыкновенно гораздо менее почетном и симпатичном. Обычно занятием, на котором отдельные крестьяне наживали довольно большие деньги, была торговля и в частности прасольство. И Егор Чех в этом отношении, видимо, не представлял исключения. Несомненно во всяком случае, что это был не простой крестьянин-хлебороб, о чем косвенно свидетельствует и тот факт, что тотчас же по выходе на волю он поступает на службу в имение графа Платова—в слободы Крепкую и Княжую Донской области, где впоследствии занимает крупную должность управляющего, с очень приличным вознаграждением.

Об отце Чехова, Павле Егоровиче, биографы говорят разное. По одним сведениям он начал свою жизненную карьеру с прасольства, гонял на продажу скот в Москву, Харьков и другие города. Но младший сын его Михаил, брат Антона Павловича, опровергает это, говоря: «В 1840 году Павел Егорович служил на сахарном заводе Гирша, и, отличаясь высокой честностью, был послан этим Гиршем в Москву с очень большими деньгами и все время ехал с гуртом скота, что вероятно, и дало повод некоторым биографам думать, что он был прасолом» (М. П. Чехов, «Антон Чехов и его сюжеты»). В даль-

нейшем, однако, эти разногласия исчезают. Мы узнаем, что Павел Егорович поселяется в Таганроге, поступает сначала служащим в торговое заведение, а потом открывает собственную бакалейную торговлю. Если к этому прибавить, что женат был Павел Егорович на дочери купца-суконщика Евгении Яковлевне Морозовой, что брат его Митрофан Егорович тоже имел бакалейную торговлю в Таганроге, что муж его свояченицы А. Б. Долженко в свое время тоже занимался торговлей, что, наконец, почти весь круг его таганрогских знакомых и друзей состоял из купечества, то мы, кажется, сможем составить себе довольно ясное понятие о том, что представлял собой род Чеховых. Это были среднего достатка люди, составлявшие низы того класса буржуазии, который тогда уже стал завоевывать себе у нас прочное положение, и шел на смену вымиравшему классу дворянства. Погоня за наживой, мечта о «капитале», ограничение круга своих интересов интересами очень прозаического, будничного свойства, постоянная, изо дня в день забота о копейке на черный день—вот что наполняло содержанием всю жизнь этих людей. Мещане—так обыкновенно мы называем таких людей.

В обстановке этого мещанства Детство. и проводил свои детство и юность Чехов. И, конечно, она должна была оказывать на него должное влияние. О своем детстве и вообще о ранних годах своей жизни он дал

нам не мало сведений и в письмах, и в художественных произведениях.

В письме к А. С. Суворину от 7 января 1889 года, высказываясь о том, что, по его мнению, нужно для писателя, он между прочим пишет: «...необходимо чувство личной свободы, а это чувство стало разгораться во мне только недавно. Раньше его у меня не было... Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разnochинцы покупают ценою молодости». И дальше, как бы уже прямо описывая свое прошлое, прибавляет: «Напишите-ка, рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без галош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества—напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая...»

Из дальнейшего рассмотрения жизни Чехова мы ясно увидим, что упоминаемый в этом письме молодой человек был не кто иной, как сам он, и семейно-бытовая обстановка, изображенная здесь,—это обстановка его детства и отрочества.

В рассказе «Моя жизнь», который несомненно имеет автобиографическое значение, Чехов устами героя этого рассказа между прочим говорит: «У нас в доме часто повторяли: «деньги счет любят», «копейка рубль бережет» и т. п.»... Но мало того, что все это часто ему самому приходилось *слышать*, он еще по требованию отца принимал и активное участие в наживании тех копеек, из которых впоследствии должны были получиться рубли, и участие не только активное, но и не всегда морально-чистое.

Когда маленький Антоша был уже учеником Таганрогской гимназии, то, возвращаясь домой после своих школьных занятий, он должен был идти в лавку и там, помогая взрослым, отпускать товары покупателям. Очевидно, в обиходе купцов Чеховых пользовалось правами гражданства правило: «не обманешь—не продашь», поэтому и Антоша, отпуская товар, сплошь и рядом прибегал при этом к плутовству, обмеривая и обвешивая покупателей. И что особенно интересно, так это то, что говорить, будто в данном случае во всем повинна была принудительная рука старших, повидимому, не приходится. Еще будучи ребенком, Чехов одной из самых любимых своих игр считал игру в торговлю, тогда же он мастерски владел счетами и этими своими особенностями так сильно бросался в глаза окружающим, что все были убеждены, будто из него современем непременно выйдет хороший коммерсант. Уверенность эта, как мы знаем, не опра-

вдалась в действительности, но и сказать, что это вовлечение Чехова в круг коммерческих интересов, в атмосферу мещански-буржуазной обывательщины, прошло бесследно для психологии его,—ни в коем случае нельзя. Инстинкт собственности, влечение к приобретению, любовь к деньгам, сначала из-за нужды, а потом и без всякой нужды, резко бросаются в глаза при дальнейшем знакомстве с ним, несмотря на всю обаятельность его образа.

Наш Таганрог обнищал, аки пилигрим,—пишет он своему брату Михаилу Павловичу (9 июня 1877 года),—хлеба на поле лучше нас с тобой; цветут лучше московских барышень, сияют ярче червоица, растут в гору, как капитал от 25 процентов. Отличные хлеба. Ждем урожая блестящего. Дай бог России победить турку с трубкой (писано во время русско-турецкой войны 1877 года. Д. К.), да пошли урожай вместе с огромнейшей торговлей, тогда я с папашей заживу купцом... Разбогатею, а что разбогатею, так это верно, как дважды два четыре...» Выясняя свои отношения с А. С. Сувориным в письме от 29 августа 1888 года, он между прочим пишет этому тогдашнему своему другу: «Я стал бояться, чтобы наши отношения не были омрачены чьей-нибудь мыслью, что вы нужны мне, как издатель, а не как человек и пр., и пр. Все это глупо, оскорбительно и доказывает только, что я придаю большое значение деньгам, но ничего я с собой не поделаю». Свою жизнь по окончании

университета, когда он начал было заниматься медицинской практикой, Чехов так описывает в своем письме к дяде Михаилу Егоровичу: «Капитала, конечно, еще не нажил и не скоро наживу, но живу сносно и ни в чем не нуждаюсь. Если буду жив и здоров, то положение семьи обеспечено. Купил я новую мебель, завел хорошее пианино, держу двух прислуг, даю маленькие музыкальные вечерки, на которых поют и играют... Долгов нет и не чувствуется в них надобности... Недавно забирали провизию (мясо и бакалею) по книжке, теперь же я и это вывел, и все берем за деньги. Что будет дальше, не ведомо, теперь же грешно жаловаться».

«Желаю ее мужу здоровья, денег и всевозможных земнородных благ»; «прощай, будь здоров и богат»; «желаю ему счастья, богатства и здоровья» — самые частые и обычные места в его письмах к близким людям.

Если к этому присоединить постоянные мечты Чехова о приобретении собственного имения, а потом и не мечты, а действительное приобретение сначала поместья Мелихова, потом дачи в Ялте; припомнить, как он буквально ни одного красивого и уютного уголка в природе не мог видеть без того, чтобы не пожелать приобрести его в собственность, то нам станет больше чем ясно, насколько сильны и действенны в нем были традиции и принципы той мелкобуржуазной среды, в которой он родился и вырос и которые, как мы увидим впоследствии, совершенно

определенным образом подействовали и на его идеологию. Этим между прочим, конечно, и нужно объяснить то обстоятельство, что мы так долго остановились на только что отмеченной стороне его жизни.

Возвращаясь теперь к детству Чехова, мы должны будем обратить внимание еще на одну сторону той семейной обстановки, в которой ему пришлось расти и воспитываться.

Мелкобуржуазная мещанская среда всегда обыкновенно характеризуется, как своими неизбежными признаками, патриархальностью и церковным благочестием. И семья Павла Егоровича Чехова в этом отношении была очень типична. Все отношения здесь покоились на повиновении старшим, на безусловном преклонении перед их авторитетом. Весь семейный быт определялся вкусами и симпатиями главы семейства, который очень и очень не редко прибегал даже к побоям.

Сам Павел Егорович был большим любителем церковного пения и богослужения. Мало того, что он не пропускал ни одной праздничной службы в церкви, он хотел и сам принимать в ней активное участие. Будучи большим любителем, как мы уже сказали, церковного пения, он организовал в Таганроге хор, с которым и выступал то в одной, то в другой церкви. В этом хоре он заставлял принимать участие и своих детей. Глядя на то, с каким усердием он всем этим занимался, можно было подумать,

что это не семья бакалейного лавочника, а семья какого-нибудь священника или дьякона. «Каждую субботу,—пишет М. П. Чехов в своей книжке «Антон Чехов и его сюжеты»,—вся семья отправлялась ко всенощной и, возвратившись из церкви, еще долго пела у себя дома канон. Курилась кадилница, отец или кто-нибудь из сыновей читал икосы и кондаки, а после каждого из них все хором пели стихиры и ирмосы. Утром шли к ранней обедне, после которой чаще всего также хором пели акафист. Отсюда то у Антона Павловича такое знание акафистов, какое он выявляет в своем рассказе «Святой ночью». Эти домашние богомоления с особой пышностью совершались у брата Павла Егоровича—Митрофана Егоровича».

Легко себе представить, каким тяжелым бременем должно было все это ложиться на детей Павла Егоровича. По будням скучная школа и торговля в лавке, по праздникам ирмосы и акафисты—это неизбежно должно было вызвать соответствующую реакцию. Что касается Антона Павловича, то у него такое злоупотребление церковностью навсегда отбило охоту от религии. «Когда в детстве,—пишет он А. С. Суворину в письме от 17 марта 1892 года,—мне давали религиозное воспитание, и я читал на клиросе и пел в хоре, все умилялись, глядя на меня, я же чувствовал себя маленьким каторжником, а теперь у меня нет религии. Вообще в так называемом религиозном воспитании не обходится

дело без ширмочки, которая не доступна оку постороннего. За ширмочкой истязуют, а по сторону ее улыбаются и умиляются. Не даром из семинарии и духовных училищ вышло столько атеистов». Вполне естественно, что при таком настроении и общественно-историческую роль религии Чехов оценивал вполне правильно—отрицательно. «Про образованную часть нашего общества,—пишет он С. П. Дягилеву (Ялта, 30 декабря 1902 года),—можно сказать, что она ушла от религии и уходит от нее все дальше и дальше, чтобы там ни говорили и какие бы философско-религиозные общества ни собирались. Хорошо это или дурно, решать не берусь, скажу только, что религиозное движение, о котором вы пишете,—само по себе, а вся современная культура—сама по себе, и ставить вторую в причинную зависимость от первой нельзя. Теперешняя культура—это начало работы во имя великого будущего—работы, которая будет продолжаться, может быть, еще десятки тысяч лет для того, чтобы хотя в далеком будущем человечество познало истину и настоящего бога—т. е. не угадывало бы, не искало бы его в Достоевском, а познало ясно, как познало, что дважды два есть четыре. Теперешняя культура—это начало работы, а религиозное движение, о котором мы говорили, есть пережиток, уже почти конец того, что отжило или отживает». В этой оценке религии нас, конечно, не должны смущать слова Чехова о «познании истины настоя-

щего бога» в далеком будущем, как бы идущие вразрез с его антирелигиозным настроением: весь смысл его рассуждения, приведенного нами, свидетельствует о том, что он говорит в данном случае о боге не в прямом, а в переносном смысле.

Патриархальный характер семейных отношений в доме Чеховых, то узко-церковное, обрядовое благочестие, о котором мы только что говорили, повидимому, оказали влияние на Чехова еще и в другом отношении. Уже в детстве мы видим его похожим на своих сверстников. Он мало принимал участия в играх с другими детьми, любил проводить время со взрослыми, вслушиваться в их разговоры и даже принимать в них участие или сидеть где-нибудь в сторонке и читать. Несмотря на то, что за ним, как и за всяким ребенком его возраста, водились и шалости и детские проказы, все же не они давали общую окраску его детству. Не мальчиком шалуном и проказником представляется нам он в эту пору своей жизни, а скорее ребенком с склонностью к грусти, раздумью и преждевременной зрелости. Обычно это бывает с детьми с невеселым детством. Повидимому, так было и с Чеховым.

О своем детстве он неоднократно вспоминает впоследствии, и обыкновенно в очень грустном тоне. «В детстве у меня не было детства»,—любил он повторять, будучи уже взрослым человеком. Говоря о методах воспитания, которые

в то время применял по отношению к детям известный педагог Рачинский, Чехов замечал: «Рачинского я понимаю, но детей, которые учатся у него, я не знаю. Их души для меня потемки. Если в их душах радость, то они счастливее меня и братьев, у которых детство было страданием». В письме к В. А. Тихонову он писал: «Спасибо за ласковое слово и теплое участие; меня маленького так мало ласкали, что я теперь, будучи взрослым, принимаю ласку, как нечто непривычное, еще мало пережитое. Поэтому и сам хотел бы быть ласков с другими, да не умею: огрубел и ленив, хотя и знаю, что нашему брату без ласки никак быть невозможно» (Москва, 7 марта 1889 года). В рассказе «Три года», заставляя своего героя—Лаптева, описывать же не свое детство, Чехов несомненно говорит нам о себе, о своем детстве. «Я помню,—читаем мы здесь,—отец начал учить меня или, попросту говоря, бить, когда мне не было еще пяти лет. Он сек меня розгами, драл за уши, бил по голове, и я просыпаясь каждое утро думал прежде всего: будут ли сегодня драть меня? Играть и шалить мне и Федору запрещалось; мы должны были ходить к утрени и к ранней обедне, целовать попам и монахам руки, читать дома акафисты. Ты вот религиозна и все это любишь, а я боюсь религии и когда прохожу мимо церкви, то мне припоминается мое детство и становится жутко. Когда мне было 8 лет, меня уже взяли в амбар, я работал, как простой мальчик, и это

было не здорово, потому что меня тут били почти каждый день. Потом, когда меня отдали в гимназию, я до обеда учился, а от обеда до вечера должен был сидеть все в том же амбаре...»

Можно допустить предположение, что в этой последней картинке краски окажутся несколько сгущенными, если взять их применительно к самому Чехову, но общее впечатление от нее все же остается то самое, которое получается всегда, когда он начинает вспоминать и говорить о своем детстве,—впечатление тяжелое, безрадостное.

Такое детство несомненно должно было повлиять на психологию ребенка, на выработку его мироощущения; грустные, меланхолические тона в творчестве Чехова безусловно должны быть в известной степени отнесены за счет его ранних жизненных переживаний. И это тем более, что такие переживания длились у Чехова не год и не два, а целый ряд лет, даже и тогда, когда началось его школьное образование.

Школьное образование. Первые школьные годы Чехова были очень неудачны. По совету своих знакомых, таганрогских торговцев-греков, Павел Егорович отдал его в греческую школу некоего Вучины. Что это был за педагог и что представляла собой его школа, можно прекрасно судить по отзывам братьев Чеховых. Вообще очень сдержанный и мягкий в своих отзывах Михаил Павлович так вспоминает о школе Вучины: «Это было тогда учре-

ждение с анекдотическим преподаванием, и через два года Антон Павлович был взят оттуда и переведен в местную классическую гимназию. О пребывании писателя в этой греческой школе в семейных воспоминаниях ничего достоверного, кроме всевозможных курьезов и анекдотов, не осталось». Но далеко не курьезную картину школьных порядков Вучины дает нам в своем описании другой брат, Александр Чехов: «Грек учитель был человек невежественный. Учительство выпало ему в удел как совершенная случайность. Телесные наказания в школе считались узаконенным приемом. К наказанным применялись приемы, достойные старой бursы. Бил детей не только учитель, но тут же, на глазах учеников расправлялись с провинившимися сыновьями отцы. Протестовать было некому...» И в такой обстановке маленький Антон Павлович должен был пробыть целых два года! Эта обстановка, конечно, изменилась, когда он был потом переведен в Таганрогскую гимназию, но изменилась, видимо, все же не настолько, чтобы об этом можно было говорить как о каком-то счастье. Судя по тому, что здесь официально, самими учителями, не говоря уже о товарищах, давались клички детям, можно думать, что Таганрогская гимназия вряд ли чем отличалась от обычного типа старых «классических гимназий». Школьный товарищ Чехова М. Д. Кукушкин говорит по поводу этого: «По обычаю, существующему всюду в школах, Чехова товарищи

прозвали «головастиком». У него была большая голова, не соответствовавшая его небольшой фигуре. «Антошею Чехонте» его назвал наш батюшка, преподаватель закона божия, о. протоиерей Покровский. Всем нам он дал особые прозвища, которыми мы и именовались на его уроках. Он так и вызывал, растягивая баском по слогам: «Чехонте!» Этот же М. Д. Кукушкин дает нам сведения и о том, как учился Чехов в гимназии. «Учился,—говорит он,—Чехов неважно и из 23 учеников выпускного класса занимал одиннадцатое место. За сочинения по русскому языку дальше тройки не шел, но всегда отличался по-латыни и закону божьему, получая за них пятерки. Знал массу славянских текстов и в товарищеских беседах увлекал нас рассказами, пересыпанными славянскими изречениями, из которых многие я впоследствии встречал в некоторых из его первых литературных произведений. Несмотря на свои средние успехи, Антон Павлович пользовался особым вниманием нашего учителя русского языка Мальцева и директора гимназии, общего любимца, Рейслингера».

Гимназия, видимо, не могла заинтересовать Чехова, по крайней мере когда он был в младших классах. Мальчик, тогда в общем достаточно обеспеченный и отнюдь не такой, которого можно было бы зачислить в категорию лентяев и тупиц, он все же два раза оставался на второй год в том же классе—в третьем и в пятом.

Только в старших классах, между прочим уже тогда, когда он остался в Таганроге один, без семьи, переехавшей в Москву, сам должен был зарабатывать себе средства и довольно сильно нуждался, он стал учиться значительно лучше, но опять-таки особенно не выделялся своими познаниями и успехами.

Аттестат, который получил Чехов по окончании курса Таганрогской гимназии в 1879 году—это обычный аттестат несколько выше среднего ученика. «Дан сей,—значилось в нем,—Антону Чехову, вероисповедания православного, сыну купца, родившемуся в Таганроге 17 января 1860 года, обучавшемуся в Таганрогской гимназии 10 лет, в том, во-первых, что на основании наблюдений за все время обучения его в Таганрогской гимназии поведение его было вообще отличное, исправность в посещении и в приготовлении уроков, а также в исполнении письменных работ весьма хорошее, прилежание очень хорошее и любознательность по всем предметам одинаковая...» С этим последним утверждением, т. е. что любознательность Чехова по всем предметам была одинакова, в явном противоречии стоит тот факт, что познания его по предметам гимназического курса были оценены далеко не одинаково. По закону божью, географии и немецкому языку он имел высший балл—5, по русскому языку и словесности, логике и истории—4, по латинскому и греческому языкам, математике и физике—3. Но несмотря

на это, гимназическое начальство, повидимому, не сочло нужным разбираться в «тонкостях» и смело отнесло будущее светило художественного слова к разряду посредственностей. А между тем молодой Чехов в это время до страсти увлекался романами Шпильгагена, Георга Борна, Виктора Гюго, очень любил театр и драматическую поэзию и, что особенно важно, уже начал писать и сам. Будучи гимназистом, он написал драму «Безотцовщина» и водевиль «Не даром курица пела». Эти произведения он послал брату в Москву, думая их где-нибудь напечатать. Правда, свою драму он впоследствии сам же уничтожил, разорвавши на мелкие кусочки, но водевиль сохранил, считая его достойным лучшей участи.

Быть, однако, очень строгим в данном случае именно по отношению к Таганрогской гимназии все же не приходится. Это был обычный грех всей старой школы, которая не знала индивидуального подхода к учащимся, видя в них только многоликую массу, всегда подводившуюся под общий режим. Между тем нужно было, конечно, очень много педагогического чутья, чтобы в таком молодом человеке, каким был тогда Чехов, угадать будущую крупную величину. Талант его только что еще начинал давать некоторые ростки, ростки очень слабые, да и то вне стен гимназии. В общем же он в ту пору действительно был просто типичный молодой человек из мелкобуржуазной семьи, с опреде-

ленными наклонностями побесшабашничать, покутить, поухаживать за гимназистками и без всякого раздумья о своем будущем. Отпрыск молодого, только что начавшего свою историю у нас класса, он был бодр, энергичен, предприимчив, чужд всяких сомнений, как был энергичен и предприимчив и сам этот класс. Думы его дальше вопросов о материальном благосостоянии и обеспеченности не шли. Интересна одна деталь из этой поры жизни Чехова. Окончив гимназию девятнадцатилетним юношей и собираясь поступать в университет, он не имел ни малейшего представления о факультетах, и на свой медицинский попал совершенно случайно.

Таким мы оставляем Чехова на пороге его зрелого возраста и, что еще важнее, на грани того периода, когда он начнет свой переход в ряды интеллигенции высшей квалификации, того периода, когда в нем зазвучат другие ноты, — ноты тоски, уныния, растерянности, всего того, чем так богата была наша интеллигенция до революционного времени и чем сам Чехов заслужил себе репутацию, пессимиста. Должно будет пройти не мало времени и в старой России должно будет произойти не мало событий, чтобы он, мелкий буржуа по происхождению, интеллигент по образованию и своему духовному складу, слил в себе воедино эти две стихии своего существа и стал тем либерально-буржуазным интеллигентом-демократом, с светлым взглядом на будущее, каким мы знаем его

по последним годам его жизни и по произведениям этого периода.

Переезд в Москву и поступление в университет. В Москву Чехов переехал из Таганрога в 1879 году. Свой переезд сюда он обставил коммерчески. Собираясь поступить в университет, он захватил с собой двух своих товарищей по гимназии, ехавших в Москву с той же целью. Здесь он устроил их у себя на квартире, и это немного улучшило материальное положение его родителей, позволив им прежде всего переменить свою очень плохую квартиру на лучшую.

Денежные дела семьи Чеховых в это время были крайне плохи. Черные дни для нее начались еще с середины семидесятых годов. В эти годы произошло важное событие в жизни юга России: была проведена железная дорога между Ростовом и Владикавказом, сразу поднявшая экономическое значение этих городов. Что же касается Таганрога, то для него это обстоятельство оказалось очень невыгодным. Из довольно крупного торгового центра он быстро стал превращаться в глухой провинциальный городок, каким он является и в настоящее время. Стали беднеть даже крупные, богатые таганрогские купцы, а купцы мелкие, вроде Павла Егоровича Чехова, и совсем разорялись. Вот это-то обстоятельство и заставило его сначала отправить в Москву двух старших сыновей, а потом переехать туда и самому с остальными

членами семьи. Сюда же прибыл, как мы уже сказали, и Антон Павлович по окончании курса в Таганрогской гимназии.

В Москве ему пришлось сразу занять очень тяжелое и ответственное положение главы семейства, так как два старших брата его—Александр и Иван—уже отошли от семьи, а отец, долго пробывший без заработка, устроился наконец маленьким служащим у одного замоскворецкого купца с жалованием в 40 рублей в месяц и жил на квартире у хозяина.

При таких-то вот обстоятельствах Чехов и поступил в Московский университет на медицинский факультет. «Вообще о факультетах имел я тогда слабое понятие,—писал он в своей автобиографии по этому поводу,—и выбрал медицинский факультет не помню по каким соображениям, но в выборе потом не раскаивался».

По окончании курса Чехов почти совсем не занимался медицинской практикой; он был только, так сказать, врачом-любителем. Значит, если он, по его словам, не раскаивался в том, что попал на медицинский факультет, то, очевидно, совсем не из-за вопроса об этой практике, дававшей ему некоторый заработок. Причина этого заключалась в другом, а именно—в том влиянии, которое испытал на себе Чехов со стороны положительного знания, со стороны наук, изучавшихся им на медицинском факультете. В той же своей автобиографии, о которой мы только что упоминали и которую он написал

по просьбе приват-доцента Московского университета доктора Г. И. Россолимо, он по этому поводу говорит: «Не сомневаюсь, занятия медицинскими науками имели серьезное влияние на мою литературную деятельность; они значительно раздвинули область моих наблюдений, обогатили меня знаниями, истинную цену которых для меня, как для писателя, может понять только тот, кто сам врач; они имели также и направляющее влияние и, вероятно, благодаря близости к медицине, мне удалось избежать многих ошибок. Знакомство с естественными науками, с научным методом всегда держало меня настороже, и я старался, где это возможно, соотнобразяться с научными данными, а где невозможно, предпочитал не писать вовсе... К беллетристам, относящимся к науке отрицательно, я не принадлежу и к тем, которые до всего доходят своим умом, не хотел бы принадлежать». Сам Чехов, говоря о влиянии на него положительных наук, как мы видим, суживает вопрос, перенося его в область своего литературного творчества. Но несомненно, что это влияние было и шире и глубже. Вышеприведенные суждения его о роли религии безусловно продиктованы были этим же влиянием. Им же, а не чем либо иным, конечно, объясняются и его суждения о прогрессе и толстовской морали, о которых он в своем письме А. С. Суворину (Ялта 27 марта 1899 году) пишет: «Быть может, оттого, что я не курю, толстовская мораль пере-

стала меня трогать, в глубине души я отношусь к ней недружелюбно и это, конечно, несправедливо. Во мне течет мужицкая кровь и меня не удивит мужицкими добродетелями... Толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет 6—7, и действовали на меня не основные положения, которые были мне известны и раньше, а толстовская манера выражаться, рассудительность и, вероятно, гипнотизм своего рода. Теперь же во мне что-то протестует; расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и воздержании от мяса...»

Эта вера в силу знания и прогресса, уважение к нему были характерными для Чехова в течение всей его жизни; источник же их—несомненно в его университетском образовании, в изучении опытных наук.

Однако посвятить себя делу этого образования всецело он не имел возможности. Те материальные затруднения, о которых мы уже говорили, заставили искать заработка на литературном поприще.

В ту же зиму, когда он поступил в университет, Чехов написал первое свое произведение, попавшее на страницы печати—«Письмо донского помещика к ученому соседу», и направил его в юмористический журнал «Стрекоза». И нужно было знать степень

Литературная
деятельность
первого пе-
риода.

тогдашней нужды Чеховых, чтобы понять то нетерпение, с которым он ожидал результатов своего опыта, и ту радость, которую испытал он, прочитав в «Почтовом ящике «Стрекозы» очень приятный для себя ответ редактора: «Совсем не дурно, благословляем на дальнейшее сподвижничество».

Удача первого опыта повлекла за собой целый поток мелких юмористических произведений Чехова. Начинается его сотрудничество в юмористических журналах, где он вскоре становится своим человеком. Только за небольшой период времени—с 1880 по 1884 год—Чехов перебивал сотрудником в «Стрекозе», «Будильнике», «Зрителе», «Москве», «Мирском толке», «Осколках», «Спутнике», «Русском сатиристическом листке», «Развлечении» и «Сверчке». К 1885 году популярность его уже была настолько велика, что он получает приглашение и становится сотрудником «Петербургской газеты», а это было большим шагом на пути завоевания литературной известности.

Несмотря на незначительный объем первых произведений, количество всего написанного Чеховым за эти годы было так велико, что о нем уже приходится говорить как о литераторе-профессионале. И, не касаясь пока существа произведений этого периода, все же приходится задаться целым рядом вопросов, связанных с его литературной работой: что побуждало его писать? как он сам относился к своей работе?

каково было его положение в литературном мире? и т. п.

Как ни был скромнен Чехов, как ни был склонен он сам умалять значение мотивов своей литературной деятельности, все же приходится сказать, что единственным побуждением, толкавшим его на путь литературы в это время, была мысль о заработке. Положение и семьи и его самого было настолько тяжелое, что он ни в коем случае не мог всецело отдаться своим университетским занятиям, приходилось так или иначе зарабатывать. «Человек я семейный, неимущий... Деньги надобны... Мне нельзя зарабатывать менее 150—180 рублей в месяц, иначе я банкрот,— пишет он в это время редактору «Осколков» Н. А. Лейкину.—Благодаря тому, что я живу большой семьей, у меня никогда не бывает на руках свободной десятирублевки... Заработай я в будущем месяце 20—30 рублями меньше и, мне кажется, баланс пойдет к черту, я запутаюсь... Денежно я ужасно напуган и, вероятно, в силу этой денежной, совсем не коммерческой трусости, я избегаю займов и авансов».

О каких ничтожных при этом суммах шла речь и как они уплачивались, можно видеть из слов брата его Михаила Павловича, которому часто приходилось обивать пороги редакций и издательств по поручению Антона Павловича.

«Бывало придешь с документом брата за получением трех рублей и ждешь-ждешь, когда газетчики принесут выручку...

— Чего вы ждете?—спросит наконец издатель, которому станет жалко ожидающих.

— Да вот получить три рубля...

— У меня их нет... Где же я их возьму? Может быть, вы билет в театр хотите? Или брюки новые? Так сходите к портному такому-то и возьмите у него брюки за мой счет».

Нужда и нужда—вот главный, почти единственный авторский импульс Чехова в это время. Он пишет когда угодно, о чем угодно и сколько угодно. В. Г. Короленко рассказывает в своих воспоминаниях о Чехове, как он сам говорил ему о своей работе: «Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы?..—И он оглянул стол, взял в руки первую попавшуюся в глаза вещь,—это оказалась пепельница,—поставил ее передо мною и сказал:—«Хотите, завтра будет рассказ, заглавие «Пепельница»?»

Так мог писать, конечно, только человек; у которого вопросы о завтрашнем рассказе и завтрашнем обеде были почти неразрывно связаны, который не только «хотел» писать, но всегда помнил о том, что он «должен» писать. Хорошо еще, что это «должен» наталкивалось в данном случае на изумительный, неиссякаемый источник жизнерадостности и на изумительно живое воображение.

Сила этой жизнерадостности, живость этого воображения были так велики, что на них не могли подействовать даже те ужасные условия, в которых в это время приходилось работать

Чехову. А условия эти подчас действительно были невозможны. В письме своем Н. А. Лейкину, редактору «Осколков» (Москва, август 1883 года) он пишет по этому поводу: «Пишу при самых гнусных условиях. Передо мною моя не литературная работа, хлопающая немилосердно по совести, в соседней комнате кричит детеныш приехавшего погостить родича, в другой комнате отец читает матери вслух «Запечатленного ангела»... Кто-то завел шкатулку, и я слышу Елену Прекрасную... Для пишущего человека гнусней этой обстановки и придумать трудно что-либо другое. Постель моя занята приехавшим сродственником, который то и дело подходит ко мне и заводит речь о медицине... Кому надоело толковать про медицину, тот заводит речь про литературу... Обстановка бесподобная».

Таковы были, так сказать, внутренние условия работы Чехова в начале его литературной карьеры.

Не лучше их, видимо, были и условия внешние.

Прежде всего это была строгость, или, вернее, придирчивость тогдашней цензуры. Цензурные условия восьмидесятых годов, о которых у нас в данном случае идет речь, были настолько суровы, что они даже на наше прошлое заставляли Чехова смотреть с некоторой завистью.

В 1885-году под удар цензуры попали, между

прочим, и «Осколки». Это, конечно, тяжело отразилось и на журнале в целом и на отдельных его сотрудниках, в том числе и на Чехове, и он писал по этому поводу редактору Лейкину Н. А. (Москва, октябрь 1885 года): «Погром на «Осколки» подействовал на меня как удар обухом... С одной стороны трудов своих жалко, с другой как-то душно, жутко... Конечно, вы правы: лучше сократиться и жевать мочалу, чем с риском для журнала хлестать плетью по обуху. Придется подождать, потерпеть... Но, думаю, что придется сокращаться бесконечно. Что дозволено сегодня, из-за того придется съездить в комитет завтра, и близко время, когда даже чин «купец» станет недозволенным фруктом. Да, непрочный кусок хлеба дает литература, и умно вы сделали, что родились раньше меня, когда легче и дышалось и писалось...»

От этих слов Чехова так и веет воспоминанием о николаевской эпохе (Николай I), когда цензура задерживала роман Пушкина «Евгений Онегин» за фразу: «И стаи галок на крестах», видя в ней оскорбление религии; не пропускала учебника географии за указание на то, что в Сибири ездят на собаках, считая это национальным оскорблением, или учебника арифметики, думая, что под многоточиями, встречающимися в местах повторений, скрывается что-нибудь недозволенное; запретила даже поваренную книгу за фразу, в которой говорилось о том, что сдобное тесто, после каких-то там над ним операций,

нужно поставить «в вольный дух» истопленной печки.

Если от строгости такой цензуры страдало печатное слово вообще, то тем более от нее страдали сатирические журналы, которые по самому существу своему должны были затрагивать вопросы злободневные, касающиеся учреждений и лиц, не «подлежащих критике». Вот почему в письмах Чехова мы так часто встречаем и жалобы на то, что он не может писать о том и так, как ему хотелось бы, и опасение за судьбу уже написанного и отправленного в редакцию.

Наконец к числу все тех же тяжелых условий, в которых в первое время приходилось работать Чехову, нужно будет отнести и ту писательскую среду, с которой ему всегда приходилось сталкиваться. Все это по большей части были люди очень невысокого умственного и особенно морального уровня, и общение с ними тяжело ложилось на душу начинающего писателя с такой тонкой духовной организацией, как у Чехова. Вот почему, несмотря на свою обычную скромность и деликатность, он был беспощаден в своих суждениях об этой «пишущей братии». В письме своем к брату Александру Павловичу (Москва, май 1883 года) он так отзывается о своих коллегах—«газетчиках»: «Газетчик значит по меньшей мере жулик, в чем ты и сам не раз убеждался. Я в ихней компании, работаю с ними, рукопожимаю и, говорят, издали стал походить

на жулика... Ты не газетчик, а вот тот газетчик, кто, улыбаясь тебе в глаза, продает душу твою за 30 фальшивых сребренников и за то, что ты лучше и больше его, ищет тайно погубить тебя чужими руками—вот это газетчик...» Возможно, конечно, что краски здесь сгущены, возможно, что в этом озлоблении против мелких газетных работников до некоторой степени дает себя чувствовать мелкобуржуазное классовое существо Чехова, которое помешало ему увидеть в этих «газетчиках» таких же, как и он, нуждающихся и бегающих за грошевым заработком голодных людей. Но в значительной степени слова его, конечно, не лишены основания: завидующих, интригующих, продающих свои убеждения среди этих «газетчиков» было, конечно, не мало, и чувствовал себя с ними Чехов очень нехорошо. Интересно, что это чувство раздражения и недоброжелательства по отношению к работникам пера было так сильно, что он не освободился от него и впоследствии. Уже в 1888 году в своем письме И. Л. Щеглову (Москва, май 1888 года), работавшему в петербургской печати, он пишет по вопросу о солидарности среди писателей: «Как у вас в Питере любят духоту! Неужели вам всем не душно от таких слов, как солидарность, единение молодых писателей, общность интересов и проч. Солидарность и прочие шутки я понимаю на бирже, в политике, в делах религиозных (секта) и т. д., солидарность же молодых литераторов невоз-

можна и ненужна. Думать и чувствовать одинаково мы не можем, цели у нас различные, или их нет вовсе, знаем мы друг друга мало, или вовсе не знаем и, стало быть, нет ничего такого, к чему могла бы прочно прицепиться солидарность... А нужна она? Нет... Чтобы помочь своему коллеге, уважать его личность и труд, чтобы не сплетничать на него и не завистничать, чтобы не лгать ему и не лицемерить перед ним—для всего этого нужно быть не столько молодым литератором, сколько вообще человеком...» В этом отмежевывании себя от корпоративной общности интересов с писательской средой нельзя не видеть прежде всего проявления столь свойственного Чехову индивидуализма, что, заметим кстати, опять-таки подчеркивает его буржуазную классовость; но в этом же отмежевывании нельзя не усмотреть и результата всего пережитого им в начале своей авторской карьеры.

Такова была та обстановка и те условия, в которых работал в начале своей литературной карьеры Чехов, оставаясь в то же время и студентом медицинского факультета в университете.

Университетский курс он окончил в 1884 году. Хотя он и говорил не раз о том, что медицина—его любимое дело, но все же врачебной практикой занимался в общем очень немного.

Тотчас же по окончании университета Чехов

Окончание
университета
и врачебная
деятельность.

поехал на лето в город Воскресенск, где служил учителем его брат Иван Павлович. Близ Воскресенска находилась земская больница, которой заведывал известный тогда врач П. А. Архангельский. В эту больницу и поступил в качестве молодого врача-практиканта Чехов. Здесь с ним познакомился врач другой земской больницы, Звенигородской, и упросил его заменить себя на время отпуска. Некоторое время Чехов практиковал в качестве врача и в Москве. Об этой практике его мы уже упоминали выше. Она дала ему возможность обеспечить себя и семью материально и зажить даже более чем обеспеченной жизнью. Но в общем деятельность Чехова в качестве врача продолжалась недолго. Правда, окончательно он не порывал с ней никогда. Живя в Москве, затем в своем имении Мелихове, потом в Ялте, он всегда по первому же зову шел помочь больному. Но это не было занятием врача-профессионала, а скорее своего рода любительством. В каком виде представлялась ему деятельность врача-профессионала, можно судить по словам доктора Астрова из «Дяди Вани», которого Чехов безусловно представляет высказывать свои собственные мысли. «В великом посту,—говорит он няньке Марине,—на третьей неделе поехал я в Малицкое на эпидемию... Сыпной тиф... В избах народ вповалку... Грязь, вонь, дым, телята на полу, с больными вместе... Поросята тут же... Возился я целый день, не присел, маковой росинки во

рту не было, а приехал домой, не дают отдохнуть—привезли с железной дороги стрелочника; положил я его на стол, чтобы ему операцию сделать, а он возьми и умри у меня под хлороформом. И когда вот не нужно, чувства проснулись во мне, и защемило мою совесть, точно это я умышленно убил его... Сел я, закрыл глаза—вот эдак, и думаю: те, которые будут жить через сто—двести лет после нас и для которых мы теперь пробиваем дорогу, помянут ли нас добрым словом? Нянька, ведь не помянут?...» Не менее безотрадную картину рисует Чехов и в рассказе «Палата № 6», описывая в нем врача Андрея Ефимыча: «В первое время Андрей Ефимыч работал очень усердно. Но с течением времени дело заметно прискучило ему своим единообразием и очевидной бесполезностью. Сегодня примешь 30 больных, а завтра, глядишь, привалит их 35, послезавтра 40, и так изо дня в день, из года в год, а смертность в городе не уменьшается и больные не перестают ходить. Оказать серьезную помощь сорочка приходящим больным от утра до обеда нет физической возможности, значит, поневоле выходит один обман... Класть же серьезных больных в палаты и заниматься ими по правилам науки тоже нельзя, потому, что правила есть, а науки нет; если же оставить философию и педантически следовать правилам, как прочие врачи, то для этого, прежде всего, нужны чистота и вентиляция, а не грязь, здоровая пища,

а не щи из вонючей кислой капусты и хорошие помощники, а не воры».

Что Чехов часто возвращается к этим мыслям, без сомнения указывает на то, как прочно они в нем сидели. А при таком образе мыслей, конечно, нельзя было оставаться врачом-профессионалом. Вот почему чем дальше, тем больше Чехов отходил от врачебной практики. Зато чем дальше, тем больше он продолжал уходить в работу литературную.

Продолжение
литературной
деятельности.

В год окончания университета (1884) он выпускает первый сборник рассказов—«Сказки Мельпомены». В 1886 году начинает сотрудничество в «Новом времени», где для него даже отводится особый отдел «Субботники». В том же году выпускает второй сборник—«Пестрые рассказы». В 1887 году пишет первое крупное драматическое произведение—«Иванов» и издает еще два сборника рассказов: «В сумерках» и «Невинные речи», причем сборник «В сумерках» производит такое большое впечатление в обществе и в литературных кругах, что Чехову присуждается за него Пушкинская премия Академии наук (в половинном размере).

В 1888—1889 году он, не прекращая своей журнально-беллетристической деятельности, работает над большим произведением—романом. Роман этот так и не был написан, но о том, что он должен был собой представлять, мы

можем судить по словам самого же Чехова. «Роман значительно подвинулся вперед и сел на мель в ожидании прилива,—писал он в 1889 году А. Н. Плещееву.—Посвящаю его вам—об этом я уже писал. В основу сего романа кладу я жизнь хороших людей, их лица, дела, слова, мысли и надежды; цель моя—убить сразу двух зайцев: правдиво нарисовать жизнь и кстати показать, насколько эта жизнь уклоняется от нормы. Норма мне не известна, как не известна никому из нас. Все мы знаем, что такое бесчестный поступок, но что такое честь—мы не знаем. Буду держаться той рамки, которая ближе сердцу и уже испытана людьми посильнее и поумнее меня. Рамка эта—абсолютная свобода человека, свобода от насилия, от предрассудков, невежества, чорта, свобода от страстей и проч.» Судя по тому, что Чехов пишет по поводу этого романа и Плещееву, и Суворину, и другим литераторам, видно, что мысль о нем очень занимала его как художника.

По неизвестным нам причинам роман, как мы уже сказали, так и не был закончен. Однако мы не обходим его молчанием, так как в связи с ним имеет возможность ознакомиться с принципами творчества Чехова, а через это, что особенно важно, и с его идеологией в восьмидесятые годы. Это та самая идеология, которая так резко и определенно была формулирована им в письме А. Н. Плещееву несколько ранее—в 1888 году. «Я боюсь тех,—писал здесь Чехов,—

кто между строк ищет тенденции и кто хочет видеть меня непременно либералом или консерватором. Я не либерал, не консерватор, не постепенец, не монах, не индеферентист. Я хотел бы быть свободным художником и—только... Я одинаково не питаю особого пристрастия ни к жандармам, ни к мясникам, ни к ученым, ни к писателям, ни к молодежи. Фирму и ярлык я считаю предрассудком. Мое святое святых—это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи, в чем бы последние две ни выражались. Вот программа, которой я держался бы, если бы был большим художником».

В этих словах Чехова опять-таки нельзя не видеть некоторого исповедания веры либерального буржуа-индивидуалиста. Абсолютная свобода, талант, ум, даже культ человеческого тела—все это принципы, перед которыми всегда и везде преклоняла колена мыслящая часть буржуазии, когда она вступала в обладание своими классовыми правами.

Чехов, конечно, не бакалейный торговец из Таганрога. Он в это время уже человек, получивший университетское образование, вошедший в писательскую среду, тесно примкнувший к кругу интеллигенции. Его уже не будут теперь привлекать те узко-мещанские интересы, которые владели его дедом и отцом и которые им самим владели так сильно в тот момент, когда он только что соскочил со студенческой

скамьи. Наоборот, мещанство находит в нем теперь своего сильнейшего врага. «Душа просится в ширь и в высь,—пишет он А. С. Суворину в своем письме от 16 июня 1892 года—но по неволе приходится вести жизнь узенькую, ушедшую в сволочные рубли и копейки. Нет ничего пошлее мещанской жизни, с ее грошами, харчами, нелепыми разговорами и никому не нужной условной добродетелью. Душа моя изныла от сознания, что я работаю ради денег и что деньги центр моей деятельности». И все же, несмотря на это, мы должны будем признать, что выше идеи своего собственного «я», выше идеала какой-то мифической абсолютной свободы, того индивидуализма, который давал ему возможность, возможность, кстати заметим мы, конечно, призрачную, быть ни либералом, ни консерватором, одинаково не питать пристрастия ни к жандармам, ни к ученым, ни к молодежи, Чехов не поднимался и вообще и особенно в этот период своей жизни и деятельности. А это-то и есть все то, что характеризует в нем интеллигента либерально-буржуазной группировки. Эти чисто классовые идеалы Чехова с течением времени будут становиться выше, облагороженнее, чище, но он никогда не освободится от них полностью.

Но говоря о буржуазном характере его мировоззрения, мы ни одной минуты, конечно, не думаем о том, чтобы ставить его в одну плоскость с нашими Колупаевыми и Разуваевыми.

Речь идет только о сущности мировоззрения, о его философской, так сказать, подоплеке. Вне же этого Чехов был культурнейшим и отраднейшим явлением нашей жизни тогдашней эпохи. Он не только не был способен на грубый эгоизм в какой бы то ни было форме, на грубое отстаивание своих интересов, а наоборот, всегда стоял за необходимость подчинения их интересам общества, и никогда не был чужд сознания, что он, человек, получивший от этого общества высшее образование и возможность жить так, как ему представлялось лучшим и наиболее целесообразным, и сам должен как можно больше дать ему в отплату.

Это было как раз то время, когда он от своего «беззадумчивого смеха» переходил к вдумчивому, глубоко серьезному отношению и к себе, и к окружающей действительности, и к сознанию необходимости углубления своей литературной деятельности.

Отражением всего этого явилась между прочим и поездка на остров Сахалин, предпринятая в 1890 году.

Путешествие на Сахалин.

Что Чехов совершил это путешествие не в целях простого развлечения и не под влиянием простого любопытства, об этом свидетельствуют как обстоятельства, предшествовавшие поездке, так и та подготовка к ней, которую он сделал прежде чем тронуться в путь.

Сведения о том, как зародилась у Чехова

самая мысль о путешествии именно на Сахалин, передает нам брат его Михаил Павлович. «Поездка эта была задумана,—говорит он,—совершенно случайно. Я только что окончил тогда курс на юридическом факультете и готовился к государственным экзаменам. ...Часто Антон Павлович брал у меня мои лекции и читал их, лежа на кровати. Как-то прочитавши уголовное право, он сказал мне: «Все наше внимание к преступнику сосредоточено на нем только до момента произнесения над ним приговора, а как сошлют его на каторгу, так о нем все и позабудут. А что делается на каторге! Воображаю!» И в один из дней он быстро, нервно засбирался вдруг на Сахалин, так что первое время трудно было понять, серьезно ли он говорит об этом, или шутит» («Антон Чехов и его сюжеты»).

Затем началась усиленная подготовка к поездке. Чехов много, не отрываясь от книг, читает о Сахалине. Достает редкие сочинения о нем; родственники, друзья и просто знакомые делают для него выписки в библиотеках, сам он сносится с Главным тюремным управлением и только уже после всего этого, в апреле 1890 года трогается в путь.

Какие мысли при этом владели Чеховым, хорошо видно, между прочим, из письма его к А. С. Суворину, которое он писал приблизительно за месяц до поездки. «Мы в тюрьмах миллионы людей сгноили зря, без рассуждения, варварски,—писал он здесь,—мы гоняли людей по

холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников и все это сваливали на тюремных, красноносых смотрителей. Теперь вся образованная Европа знает, что виноваты не смотрители, а мы сами». Естественно, что такое сознание привлекало мысль Чехова к Сахалину. «Сахалин—это место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный и подневольный»,—пишет он в том же письме к Суворину. «Работавшие около него и на нем, решали страшные, ответственные задачи и теперь решают. Жалею, что я не сентиментален, а то я сказал бы, что в места, подобные Сахалину, мы должны ездить на поклонение, как турки ездят в Мекку» (Москва, 9 марта 1890 года).

Путешествие Чехова было очень трудным. До Сахалина он ехал более трех месяцев, причем около 4 000 верст сделал по ужаснейшей колесной дороге при весенней распутице. Только очень большой нервный подъем помог ему преодолеть все невероятные трудности этой дороги, хотя все же, нужно думать, она не обошлась ему даром при его состоянии здоровья.

Более трех месяцев пробыл он и на самом Сахалине, проехав весь его с севера на юг и сделав перепись всего его населения, что дало ему возможность лично столкнуться с каждым из поселенцев.

В октябре того же года он на пароходе до-

бровольного флота «Петербург» выехал с Сахалина и, проехав Индийский океан, возвратился через Суэцкий канал в Европу.

Результатом этого путешествия, не говоря уже о чисто художественных произведениях, явилось большое полупублицистическое, полунаучное сочинение, выходившее сначала в виде отдельных статей в журнале «Русская мысль», а затем выпущенное отдельным изданием под заглавием «Остров Сахалин».

Как была понята основная мысль этого сочинения,—а это, конечно, очень важно для учета результатности поездки Чехова,—пожалуй, лучше всего можно видеть из следующих слов А. А. Дивильковского: «По внешности гуманные распорядки и жизнь сахалинцев—едва ли не осуществление мечты о фаланстерах, род государственного социализма, где каждому воздается по его труду, по его потребности, даже по таланту; по внутреннему же смыслу, сахалинский быт—непозволительная насмешка над личностью, и грубость ее ничуть не уменьшается тем, что она не преднамеренная... Мучение лежит не в людях и не в их доброй или злой воле, а в стремлении данного общественного порядка выливаться, помимо воли людей или даже прямо против их воли, в такую, а не иную форму, форму, откуда заранее исключена всякая мысль о возможности свободы действий для человека».

Не только мастерством своего письма, но имен-

но этим вот глубоким содержанием своим, глубиной своей идеи «Остров Сахалин» сильно привлек к себе внимание всей мыслящей части тогдашнего русского общества, и влияние его на нее было очень велико.

Если к этому еще прибавить то, что даже тогдашнее правительство не осталось глухим к описанию Чеховым всего им виденного и слышанного на Сахалине и учло его при проведении своих реформ каторги и ссылки, насколько оно, конечно, в состоянии было это сделать, то мы должны будем сказать, что путешествие его не было безрезультатным.

К сожалению, результаты эти, правда, косвенные, были не только положительные.

Глубоко справедливой оказалась та характеристика, которую когда-то давал Чехов всем своим коллегам по работе. Когда он поехал в Петербург, его встретила там такая волна зависти, недоброжелательства и в то же время лести, что он буквально не находил себе места и потому с радостью принял предложение А. С. Суворина поехать с ним за границу, куда и отправился в марте 1891 года.

Идеология Чехова в конце восьмидесятых годов.

За границу Чехов поехал уже в известном смысле духовно сформировавшимся человеком. Ему уже шел тридцать первый год; он многое видел, многое испытал; жил в Москве, часто бывал в Петербурге, сталкивался с разнообразнейшими людьми и в связи со всем этим в нем

сложился известный круг понятий, убеждений, выработалось известное мировоззрение. Нужно присмотреться к этому мировоззрению, чтобы понять, что представлял собою Чехов к началу девяностых годов.

За годы 1888—1889 он написал около трехсот писем к разным лицам. Эти письма дают богатейший материал для суждения о нем и его идеологии, так как почти все вопросы, которые могут и должны интересовать каждого культурного человека, так или иначе затронуты в этих письмах. Не раз касался в них Чехов вопросов о задачах художника, о сущности художественного творчества; хотя и вскользь, но очень ясно бросал свои замечания о революции, о социалистах, о буржуазии; нередко подходил к очень злободневному тогда вопросу о студенческих волнениях, или, как они очень выразительно обозначались на языке тогдашней администрации, к студенческим «беспорядкам». Все это дает нам ценнейший материал для суждения о его личности.

Общее впечатление от всех суждений Чехова в этих письмах всегда одинаково: это типичнейшие суждения буржуа-либерала типа наших тогдашних конституционалистов-демократов, или даже, может быть, несколько правее.

Прежде всего характерна самая манера суждений. Говорит ли Чехов о революции, о социалистах, он говорит о них как о чем-то для него постороннем, о чем он может судить как-то гля-

дя со стороны, а то и сверху вниз. «Мы» и «они» всегда чувствуется в этих суждениях,—суждениях, при том же исполненных самой непоколебимой уверенности.

В письме А. Н. Плещееву (Москва, февраль 1888 года), делясь с ним впечатлениями и мыслями по поводу фигуры одного из героев своего рассказа «Степь»—Дымова, Чехов, между прочим, пишет: «...Вам понравился Дымов как материал... Такие натуры, как озорник Дымов, создаются жизнью не для раскола, не для бродяжничества, не для оседлого житья, а прямо-хонько для революции... Революции в России никогда не будет, и Дымов кончит тем, что сопьется или попадет в острог. Это лишний человек».

Восьмидесятые годы прошлого века, конечно, в состоянии были навесить такие безнадежные мысли относительно революции. И Чехов был далеко не одиноким в своем суждении о том, что «революции в России никогда не будет». Именно в эти годы у нас всячески культивировалась теория так называемых «малых дел», и это одно уже говорило о том, что общественное сознание того времени совершенно порвало со всякими надеждами на смелые взлеты человеческой энергии, на большие подъемы в общественной жизни и замкнулось в мелкое моральное крохоборчество, которое, как думалось тогда, и должно было перестроить мир к лучшему.

Однако и в ту пору все же были люди, ко-

торые далеко не так безнадежно смотрели на дело будущего, которые прекрасно видели тот путь, по которому должна была пойти Россия. Но Чехов не принадлежал к этим людям, и потому так жестоко ошибся в своей уверенности.

О них, об этих людях, он говорил только в шутливо-пренебрежительном тоне, настолько они ему казались незаслуживающими серьезного внимания.

В сентябре 1888 года он пишет письмо М. В. Киселевой, сын которой Сережа, прозванный «Фиником», жил у Чеховых и был как раз в то время болен: «К Финику приходил Иванов сообщить, какие заданы уроки. Будучи приглашен наверх, он вошел в комнату Финика, сам сконфузился, сконфузился и Финик. Угрюмо глядя в одну точку, он басом сообщил, что задано, толкнул локтем Финика в бок и сказал: «Прощай Киселев!» И не подавая руки, удалился. Повидимому, социалист». (Москва, сентябрь 1888 года).

Письмо, конечно, написано в шутливом тоне. Но сквозь шутку совершенно ясно видно, что думал Чехов о социалистах. Социалист, видимо, представлялся ему, как что-то угрюмое, несколько маньякообразное, конфузищеющееся в обычном человеческом обществе, может быть, немного дикое. Ему чуждо все человеческое,—чуждо и враждебно. Для всякого не социалиста, как например, Чехов, это что-то во всяком случае неприятное...

Что все это так, как нельзя лучше подтверждает письмо Чехова, написанное им уже гораздо позднее—в 1900 году.

Живя в это время за границей, в Ницце, он пишет Л. В. Суворину, восторгаясь тамошней зимой и публикой: «А на улицах народ веселый, шумный, смеющийся; не видно ни исправника, ни марксистов с надутыми физиономиями» (Ницца, декабрь 1900 года). Социалисты-марксисты в условиях нашей действительности восьмидесятых годов были явлением настолько редким и так должны были прятаться от зорких глаз либеральных буржуа, что Чехов судил о них, конечно, больше по наслышке. Но интересно, что он даже и не обмолвился о тех задачах и целях, к которым стремились эти люди, а ограничился только насмешкой над их воображаемой внешностью. Видимо, эти задачи и цели были ему так чужды и казались ему так фантастически-невероятными, что говорить о них он просто не считал нужным, тем более, говорить серьезно.

Впрочем, раз как-то этот же вопрос Чехов затронул и серьезно, но сущность того, что он сказал на этот раз, была та же, что и прежде.

Когда появилась на сцене пьеса его «Иванов» и в публике начались толки по поводу личности ее героя, Чехов ответил на эти толки письмом к А. С. Суворину, в котором между прочим пишет: «Разочарованность, апатия, нервная рыхлость и утомляемость является непрямым

следствием чрезмерной возбудимости, а такая возбудимость присуща нашей молодежи в крайней степени. Возьмите литературу. Возьмите настоящее.... Социализм—один из видов возбуждения. Где же он? Он в письме Тихомирова к царю. Социалисты поженились и критикуют земство». (Москва, декабрь 1888 года). Так, намекая на известный случай отречения народовольца Л. Тихомирова от своих убеждений и на его покаянное письмо Александру III, расценивает Чехов сущность социализма. Социализм—это один из видов возбуждения, он присущ только молодости; завершается он обычно ренегатством, «женитьбой и критикой земства»!

Повторяем, хотя это и серьезно, но это ничем не выше, по степени приближения к истине, «надутых физиономий марксистов».

Так же по-обывательски отнесся Чехов и к происходившим в России в конце восьмидесятых годов студенческим волнениям.

Несмотря на то, что в его руках была прокламация студентов Московского университета, с требованиями, направленными к правительству, он ни словом не обмолвился по существу содержания этих требований. Что же касается источников, порождавших студенческие волнения, и участников движения, то в этом отношении Чехов высказывает соображения, за которыми далеко не всякий обыватель мог угнаться.

«У нас грандиозные студенческие беспорядки,—пишет он А. С. Суворину в 1890 году.—

Началось с Петровской академии, где начальство запретило водить на казенные квартиры девиц, подозревая в сих последних не одну только проституцию, но и политику. Из академии перешло в университет, где теперь студюозы, окруженные тяжело вооруженными Гекторами и Ахиллами на конях и с пиками, требуют следующее...»

Перечислив затем ряд студенческих требований, он добавляет: «Думаю, что сыр-бор сильнее всего горит в толпе ... и того пола, который жаждет попасть в университет, будучи подготовлен к нему в 5 раз хуже, чем мужчина, а мужчина подготовлен скверно и учится в университете, за редкими исключениями, гнусно» (Москва, март 1890 года).

Почти одновременно с этим письмом он посылает письмо А. Н. Плещееву, где по тому же вопросу о студенческих волнениях пишет: «Беспорядки у нас были грандиозные; я читал прокламации: в них ничего нет возмутительного, но редактированы они скверно и тем особенно плохи, что в них чувствуется не студент, а ... и акушерки. Должно быть не студенты сочиняли» (Москва, март 1890 года).

Грубо-обывательский тон этих суждений Чехова так бьет в глаза, что вряд ли по этому поводу нужны какие-либо комментарии. Но суждения его станут, конечно, еще ярче и красочнее, если мы дополним те места, где у Чехова стоят стыдливые точки. Пресловутые «жиды»!

Чехов постеснялся, очевидно, заговорить и назвать их открыто, но и обойтись без очень прозрачного намека он все же счел невозможным.

Интересная при этом деталь!

В том же марте месяце и того же года в письме к Суворину он снова возвращается к вопросу о студенческих волнениях и, обычно иронизируя по поводу их, пишет: «Извозчики одобряют студенческие беспорядки. «Это они затем бунтуют, объясняют они, чтобы и бедных принимали в ученье. Не одним же богачам учиться». Говорят, что когда толпу студентов вели ночью в тюрьму, то около Страстного монастыря плебс напал на жандармов, чтобы отбить у них студентов. Плебс будто бы вопил при этом: «Вы для нас порку выдумали, а они за нас заступаются» (Москва, март 1890 года).

Извозчики, насчет которых иронизирует Чехов, таким образом оказались политически гораздо смысленнее и дальновиднее, чем был он в то время. Кто хоть немного знаком с историей студенческих волнений, прекрасно знает, что за академическими требованиями студенчества крылось что-то гораздо более серьезное. Тогдашнее студенчество, конечно, понимало, что без широких политических реформ в стране исполнение его академических требований невозможно. Вот почему студенческое движение вскоре же приобрело политический характер. А как только это случилось, студенчество неизбежно заговорило о том, что так легко прозрели

чеховские извозчики и чего не мог или не хотел прозреть сам он.

Но тон суждений Чехова становится совершенно другим, когда он заговорит о близкой его сердцу буржуазии. Целая сеть достоинств этого класса сразу тогда всплывает перед его глазами.

В письме к Н. А. Лейкину, разбирая достоинства и недостатки одного из его произведений, Чехов пишет: «На вашем месте я написал бы маленький роман из купеческой жизни, во вкусе Островского; описал бы обыкновенную любовь и семейную жизнь без злодеев и ангелов, без адвокатов и дьяволиц; взял бы сюжетом жизнь ровную, гладкую, обыкновенную, какова она есть на самом деле, и изобразил бы «купеческое счастье», как Помяловский изобразил мещанское. Жизнь русского торгового человека цельнее, полезнее, умнее и типичнее, чем жизнь нытиков и пыжиков, которых рисуют Альбов, Баранцевич, Муравлин и проч.» (Сумы, май 1888 года).

Несомненно, в этом суждении Чехова сказываются его классовые симпатии, смягченные, культивированные его образованием, средой, но все же всплывающие наружу всякий раз, как ему приходится высказываться по существу своего мировоззрения.

В соответствии с этим мировоззрением стоят и взгляды Чехова на задачи художника. Писать о специальных темах, давать ответы на те или

иные волнующие общество вопросы—не дело художника-писателя. Как и подавляющее большинство наших писателей дворянского и либерально-буржуазного типа, он зовет художника-поэта в область так называемого «чистого искусства», вменяя ему в обязанность при этом только ставить вопросы в своем творчестве и освобождая его от тяжелой обязанности еще и давать на них ответы. «В разговорах с пишущей братией я всегда настаиваю на том, что не дело художника решать узко-специальные вопросы,—пишет он Суворину в одном из своих писем.—Дурно, если художник берется за то, чего не понимает. Для специальных вопросов существуют у нас специалисты; их дело судить об общине, о судьбах капитала, о вреде пьянства, о сапогах, о женских болезнях. Художник же должен судить только о том, что он понимает; его круг так же ограничен, как у всякого другого специалиста—это я повторяю и на этом всегда настаиваю» (Москва, октябрь 1888 года). Конечно, нельзя не согласиться с Чеховым, что «художник должен судить только о том, что он понимает». Но почему же художник не может понимать вопросов об общине, о судьбах капитала и т. п.! Не потому ли, что Чехов в данном случае стоит на принципе, давно уже до него провозглашенном:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,—
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Повидимому, так. Но в зависимости от условий своего времени он уже сглаживает все острые углы этого принципа. В своих суждениях о преднамеренности или непреднамеренности художественного творчества он высказывает мысли, под которыми вряд ли кто не подпишется.

«Художник наблюдает, выбирает, догадывается, компанует,—пишет он в том же письме,—уже одни эти действия предполагают в своем начале вопрос; если с самого начала не задал себе вопроса, то не о чем догадываться и нечего выбирать. Чтобы быть покороче, закончу психиатрией: если отрицать в творчестве вопрос и намерение, то нужно признать, что художник творит не преднамеренно, без умысла, под влиянием аффекта; поэтому если бы какой-нибудь автор похвастал мне, что он написал повесть без заранее обдуманного намерения, а только по вдохновению, то я назвал бы его сумасшедшим».

Серьезное, вдумчивое, исполненное сознания ответственности отношение к творчеству ясно чувствуется в каждом слове этих строк Чехова. Это как раз и было то отношение, к которому он перешел к концу восьмидесятых годов от своего прежнего беззадумчивого смеха. Не ждать, когда «божественный глагол до слуха чуткого коснется», но выбирать, изучать, всматриваться и на основании результатов этого работать,—так определял он процесс художе-

ственного творчества в тогдашнюю пору своей жизни.

Вот в каком виде рисуется нам Чехов накануне поездки за границу, о которой мы упомянули выше.

За границей Чехов бывал не-
Первая поездка за границу. однократно, но ни одна из его поездок туда так не богата впечатлениями, как эта первая, поездка 1891 года.

В этом году он побывал в Вене, Венеции, Болонье, Флоренции, Риме, Неаполе, Монте-Карло, Ницце и Париже.

Все, что он видел в этих городах, приводило его в восхищение. Нужно заметить при этом, однако, что Чехов не углублялся в изучение европейской жизни, не присматривался к существующим там общественным отношениям, не вглядывался в подоплеку той жизни, которая так очаровывала его как путешественника. Роскошь, блеск, удобства и в лучшем случае архитектура—вот что главным образом привлекало его внимание. «Ах, друзья мои, тунгусы, если бы вы знали, как хороша Вена!—пишет он своей сестре Марии Павловне из этого города.—Ее нельзя сравнить ни с одним из тех городов, какие я видел в своей жизни. Улицы широкие, изящно вымощенные, масса бульваров и скверов, дома все 6-ти и 7-ми-этажные, а магазины—это не магазины, а сплошное головокружение, мечта! Одних галстуков в окнах миллиарды! Какие изумительные вещи из бронзы, фарфора,

кожи! Церкви громадные, но они не дают своей громадой, а ласкают глаза, потому что кажется, что они сотканы из кружев... Это не постройка, а печенье к чаю» (Вена, март 1891 года). Но это не восторг именно от Вены. «Одно могу сказать: замечательнее Венеции я в своей жизни города не видел...»; «в Неаполе великолепный пассаж, а магазины!! У меня головокружение от магазинов. Сколько блеска!...»; «Парижа не опишешь, отложу его описание до моего приезда...»—вот обычные отзывы его о тех городах, в которых ему приходилось бывать во время поездок.

В Вене его поражает между прочим одно обстоятельство. «Видел я «Ренана», «Тайны зимнего дворца» и т. п. Странно, что здесь можно все читать и говорить о чем хочешь»,—пишет он в том же письме своей сестре.

После русских цензурных условий это действительно должно было показаться Чехову странным. Но восторг его в данном случае все же явно преувеличен. Европейская буржуазия конца прошлого века в упоении от достигнутых ею политических и социальных успехов, правда, позволяла говорить о многом, особенно если это многое касалось феодально-аристократического, да к тому же еще чужеземного быта. Но это было далеко не «все», как говорил Чехов. Во всяком случае по отношению к немецким государствам—Германии и Австрии—слова его звучат явным преувеличением.

Деятельность
Чехова в годы
голода и хо-
леры.

По возвращении из первого путешествия за границу, Чехов занялся широкой общественной деятельностью, не покидая, конечно, и литературной работы. Человек с живым темпераментом, с добрым отзывчивым сердцем, человек глубоко культурный, он не мог оставаться равнодушным к тем событиям, которые разыгрывались в России в 1892—1893 годах.

События эти были—голод и вспыхнувшая эпидемия холеры.

Обычные в России недороды и местные неурожаи в 1892 году приняли характер настоящего стихийного бедствия. Весь юг, юго-восток и отчасти север России были охвачены этими бедствиями. Правительство без содействия общества не могло справиться с помощью голодающему населению, а между тем оно этого содействия не хотело, всячески умаляя размеры бедствия и даже не допуская в официальном языке самого слова «голод». Нужно было иметь не мало гражданского мужества, чтобы пойти наперекор желаниям правительства и взять инициативу помощи в свои руки. Таким крупным людям, как Лев Толстой, это давалось сравнительно легко, так как на них при подобных обстоятельствах даже правительство Александра III не смело поднять свою руку. Людям же более мелкого масштаба приходилось гораздо труднее. И не редки были случаи, когда вследствие своего энергичного вмешательства в дело

помощи голодающему населению люди попадали в разряд «политически неблагонадежных».

Несмотря на все эти препятствия Чехов с жаром взялся за дело. Он обратил внимание на одну сторону бедствия, которая, если бы ее не учесть должным образом, могла оказаться чрезвычайно глубокими и очень печальными последствиями.

Дело в том, что вследствие засухи неурожай распространился не только на хлеб, но и на кормовые травы. Не имея возможности вследствие этого кормить скот, население стало продавать его за бесценок. Отсюда возникал призрак еще более страшного бедствия в будущем: даже при благоприятных атмосферных условиях, население, не имея скота, не смогло бы приступить к запашке, поля остались бы незасеянными, а вследствие этого голод должен был принять еще большие размеры.

Чтобы хоть частично парализовать эту угрозу, Чехов вместе со своим давнишним знакомым, земским начальником П. П. Егоровым, организовал покупку скота в Нижегородской губернии, прокорм его и затем раздачу безлошадным крестьянам весной, при начале полевых работ.

Нечего и говорить, как эта деятельность Чехова была полезна и целесообразна; она так увлекала его, что он решил приняться за такую же работу и в Воронежской губернии, но вследствие неблагоприятно сложившихся обстоятельств дело здесь у него не пошло.

Не менее кипучей была деятельность Чехова и по организации санитарной помощи населению в виду надвигающейся тогда же с юга холеры.

Так как он в это время был членом санитарного совета Серпуховского земства Московской губернии, то на него была возложена обязанность обеспокоиться оборудованием уезда на случай появления холеры.

Эпидемия не дошла до района деятельности Чехова. Тем не менее, положив бесконечно много энергии на дело выпрашивания и вымаливания денежной помощи у всех, у кого только было можно, он готов был во всеоружии встретить это новое бедствие.

Насколько продуктивна была работа Чехова в данном случае, видно уже из того, что когда он начинал свою работу, у земства в его районе на случай появления холеры была всего-навсего одна парусиновая палатка, а через несколько месяцев весь этот район, в котором было около 25 деревень и сел, был уже снабжен и оборудован всем необходимым: бараками, ваннами, медикаментами.

Общий обзор общественной деятельности. Чтобы не возвращаться снова к вопросу об общественной деятельности Чехова, упомянем здесь же, немного нарушая хронологическую последовательность событий, о тех случаях, когда ему приходилось выступать в качестве общественного работника, не считая главного—его литературных занятий.

В 1894 году Чехову пришлось быть присяжным заседателем в Серпухове. Суд присяжных произвел на него очень хорошее впечатление. «В Серпухове я был присяжным заседателем—писал он по этому поводу А. С. Суворину.—Помещики дворяне, фабриканты и серпуховские купцы—вот состав присяжных... Во всех делах я был старшиной. Вот мое заключение: 1) присяжные заседатели—это не улица, а люди вполне созревшие для того, чтобы изображать из себя так называемую общественную совесть; 2) добрые люди в нашей среде имеют громадный авторитет, независимо от того, дворяне они, или мужики, образованные или необразованные. В общем впечатление приятное» (Мелихово, ноябрь 1894 года).

Суд присяжных—это было одно из учреждений царской России, которое особенно сильно возбуждало неприязнь консервативной части русского общества. Это она именно находила, что суд присяжных не суд, а улица, что русские люди еще не созрели для этой «затеи», да, и самая затея-то по существу своему вряд ли представляет что-нибудь ценное. Так называемый «коронный суд», по мнению этих людей, во всяком случае пользовался неоспоримым превосходством своей организации, которую поэтому ничем и не нужно было заменять. Чехов, как видим, не был сторонником такого образа мыслей. В это время уже сотрудник либерально-буржуазных органов печати, таких как «Русская

мысль» и «Русские ведомости», он всей душой был на стороне вовлечения общественных сил в правительственные и особенно судебные учреждения, тем более, что и состав суда присяжных был такой, что против него никак не мог возражать человек либерально-буржуазного образа мыслей.

Отражением этого же образа мыслей является и участие Чехова в судьбе медицинского журнала «Хирургическая летопись» в 1896 году.

Журнал влачил жалкое существование, а в этом году и совсем должен был умереть из-за недостатка средств, и Чехов все свои связи и все свои знакомства использовал на то, чтобы помочь ему, не жалея при этом и собственных денег. Журнал же он ценил не только за его специальные научные достоинства, но главным образом за его общественное значение.

В том же, 1896 году он пожертвовал свою очень хорошую библиотеку городу Таганрогу, в котором он родился, и потом почти до конца жизни не переставал пересылать туда книги и разного рода справочные издания, стремясь превратить эту библиотеку в учреждение, удовлетворяющее все культурные запросы населения своего родного города.

Наконец в том же, 1896 году он принял самое живое участие в народной переписи, заведя особым переписным участком. В противоположность официальным лицам, которые оставались совершенно безучастными к делу переписи,

Чехов отдался ему с обычным жаром, тем более, что дело это ему уже было знакомо по переписке населения на Сахалине. Тщательно инструктируя счетчиков, сам принимая участие в переписи, составляя сводку материалов, он успешно закончил возложенное на него дело, так и оставшись одним из тех немногих, кто вполне сознавал всю важность этого грандиозного предприятия.

В 1896 и 1897 годах Чехов много сил положил на постройку и устройство сельских школ, собирая для этого средства путем благотворительности и затрачивая на это и свои деньги. Им были построены школьные здания в селах Талеже, Новоселках и Мелихове. Кроме того он состоял членом училищного совета, принимал близкое участие в постановке самого учебного дела, нередко даже выступал в качестве экзаменатора.

Если к этому присоединить те заботы, которые положил Чехов на организацию помощи чахоточным больным в Крыму в тот период, когда он жил у себя на даче в Ялте, что опять-таки потребовало от него очень много и работы и денежных средств, да его участие в жизни Ялтинской гимназии, то этим мы, пожалуй, и исчерпаем все те случаи, когда ему приходилось выступать в качестве общественного деятеля.

Приобретение усадьбы в Мелихове.

Возвращаясь к личной жизни Чехова, мы должны будем остановиться на том обстоятельстве, которое произошло в его жизни в 1892 году,—

именно на покупке имения близ села Мелихова Московской губернии Серпуховского уезда.

На первый взгляд может показаться странным, что мы придаем этому обстоятельству значение целого события в жизни Чехова. А между тем это было именно так. Речь здесь шла совсем не о простой покупке, не о простом приобретении, а о событии, на котором много лет были сосредоточены мечты Чехова и которое явилось отражением всей его натуры, и можно даже сказать—его идеологии.

Одной из особенностей Чехова было его пристрастие к физическому труду, любовь к физической работе на земле, даже точнее—на собственном клочке земли, в чем, конечно, нельзя не видеть влияния наследственности, голоса «мужицкой крови», о которой не раз говорил он сам.

Этой-то любовью главным образом и было продиктовано стремление его к приобретению собственной усадьбы.

Стремление это было настолько сильным, что еще задолго до приобретения Мелихова, Чехов вел переговоры со своими знакомыми, которые могли быть ему полезными в данном случае, о покупке для него усадьбы, даже не имея еще необходимых на это средств. Мало того, когда он наконец купил свою усадьбу близ Мелихова, то купил ее, даже не побывавши сам на месте, не видя собственными глазами, что она собой представляет, и затратив на это го-

раздо больше того, чем он располагал и на что рассчитывал. С обычным юмором он сам потом подсмеивался над собой в письме к В. Тихонову: «Похож я на человека, который зашел в трактир только затем, чтобы съесть биток с луком, но, встретив приятеля, нализался, натрескался, как свинья, и уплатил по счету 142 руб. 75 коп.»

Это была буквально какая-то непреодолимая страсть к земле, усадьбе, к удовлетворению которой Чехов стремился, по его собственному выражению, «с остервенением». «Ужасно я люблю все то, что в России называется имением. Это слово еще не потеряло своего поэтического оттенка»,—писал он еще в 1885 году Н. А. Лейкину.

Прельщала Чехова в приобретении поместья, конечно, не столько материальная ценность приобретаемого, сколько именно его, так сказать, поэтическая сторона. Копаться целыми днями в саду, по целым часам просиживать около древесного ствола, что-то там рассматривая, обсуждать как особой важности событие, как устроить колодезь, именно с украинским «журавлем», а не с каким-либо другим оборудованием—все это мог делать только «поэт» усадьбы, да к тому же еще поэт собственник по своим симпатиям.

Усадьба, которую купил Чехов, была в общем совершенно не благоустроена. И если она через шесть-семь лет превратилась в настоящее куль-

турное и очень благоустроенное поместье, то это только благодаря исключительной энергии его обитателей, и прежде всего, конечно, самого Чехова. Целые дни он проводил на воздухе за работой, выписывал деревья, производил посадки, нанимал рабочих, покупал лошадей, сеял рож и овес, разводил огород. Словом, превратился в самого занятого помещика-хозяина и даже близко столкнулся с вопросом о наемном труде, что, конечно, было совершенно неизбежно при том размахе, который он сообщил своему делу. Интересно при этом, как он смотрел на этот вопрос. «Труд рабочего обесценен почти до нуля и потому мне хорошо,—писал он А. С. Суворину из Мелихова.—Я начинаю понимать прелести капитализма. Сломать печь в людской и сделать там кухонную печь со всеми подробностями, потом сломать в доме кухню и поставить вместо нее голландку—это стоит всего 20 рублей. Цена двум лопатам—25 копеек. Набить ледник—30 копеек в день поденщику. Молодой работник, грамотный, трезвый и некурящий, который обязан и пахать, и сапоги чистить, и парники смотреть, стоит 5 рублей в месяц. Полы, перегородки, оклейка стен—все это дешевле грибов. И мне выгодно. Но если бы я платил за труд хоть четверть того, что получаю за свой досуг, то мне в один месяц пришлось бы вылететь в трубу...» (Мелихово, март 1892 года).

Нельзя, конечно, слова Чехова «мне хорошо»,

«мне вольготно» принимать в данном случае как нечто совершенно серьезное. Сказаны, они, конечно, в несколько шутиливом тоне, и сам он слишком далек был от того, чтобы торжествовать и радоваться тому, что «труд рабочего обесценен почти до нуля».

Но, с другой стороны, нельзя не отметить и того, с какой легкой душой относился он к этому факту обесценения труда рабочего. Позиция у него как будто бы получалась в данном случае такая: конечно, так эксплуатировать рабочего, так обесценивать его труд—нехорошо, но ведь не мною же установлена эта эксплуатация,—таков общий порядок, и пока он существует, почему же им не пользоваться. Характерно и то, что своими впечатлениями по этому вопросу Чехов делился не с кем-нибудь другим, а именно с Сувориным, от которого, конечно, меньше всего можно было ожидать возражений против такого образа мыслей и действий. Так упорно, пользуясь всеми средствами, которые у него были под руками, шел Чехов к намеченной им цели—к созданию благоустройства своего собственного имени.

Но несмотря на эту кипучую деятельность, особенно после того как миновал первый, самый острый период ее, Чехов продолжал и свою литературную работу. Здесь же в Мелихове между прочим было написано и его драматическое произведение «Чайка», вызвавшее целую бурю и в обществе, и в литературном мире, и в

жизни самого Чехова после неудачной постановки его на сцене петербургского Александринского театра.

Условия для работы в Мелихове были благоприятны, и Чехов прожил здесь, правда, совершая частые выезды то в Москву, то в Петербург, до 1897 года. Вероятно, он и не расстался бы с ним, несмотря на постигшие его здесь такие тяжелые утраты, как смерть отца, если бы не тяжелое осложнение в состоянии его здоровья.

Болезнь.

Состоянием здоровья в зрелом возрасте Чехов вообще не мог похвалиться. Помимо очень тяжелой формы геморроя, он был болен еще и той болезнью, которая в конце концов свела его в могилу,—чахоткой.

Признаки ее появились у него еще в 1884 году. В этом году у него было первое кровохаркание, но несмотря на то, что оно потом не раз повторялось, сам он не придавал ему серьезного значения и не считал признаком именно чахотки. Поездка на Сахалин, когда Чехову приходилось по целым дням и ночам оставаться мокрым, под холодным дождем, конечно, должна было отразиться на его здоровье неблагоприятно. Незаметно для него самого болезнь прогрессировала все более и более. Наконец в 1897 году она вылилась уже в такую опасную форму, что после одного, очень большого кровоизлияния горлом, Чехов должен был лечь в клинику профессора Остроумова в Москве.

Все удары в своей личной жизни он перенес стойко и спокойно. И теперь, когда уже официально, так сказать, было установлено, что у него чахотка, его беспокоила не столько сама болезнь, сколько то обстоятельство, что он сам, будучи врачом, «прозевал у себя притупление», да еще мысль о родных. «Пожалуйста, ничего не рассказывай матери и отцу», — была его первая просьба к сестре, приехавшей к нему из Мелихова в московскую клинику.

Состояние здоровья Чехова по выходе его из клиники было таково, что он тотчас же должен был отправиться за границу для лечения.

Вторая и третья поездки за границу.

Вторая поездка Чехова за границу состоялась в том же 1897 году. Он побывал в Париже, в Биаррице, а затем с сентября по апрель следующего, 1898 года прожил в Ницце, которая по своим климатическим условиям больше всего подходила для состояния его здоровья. Но ни эта, ни равным образом поездка его туда же в 1900 году не представляют собой общественного интереса. Обе они предприняты были с лечебной целью, приковывали Чехова к одному месту и не давали ему возможности проявить себя в каком-либо отношении, которое могло бы иметь значение для знакомства с его личностью. Но необходимость этих постоянных путешествий за границу для поправления здоровья толкнула Чехова на действия, которые не могут не интересовать нас, так как в них опять-таки

отразились все те особенности его натуры, которые мы могли уже наблюдать в период покупки и оборудования Мелихова. Мы имеем в виду покупку им собственного имения в Крыму и постройку там дачи.

Дача в Крыму.

На эту покупку Чехов, повидимому, решился не сразу. Почти из всех его писем видно, что Крым и его курортные города мало привлекали симпатию Чехова. Голая степь, камни — все это было ему не по сердцу, как человеку, привыкшему к иным видам северной природы. Но море и климат Крыма ему нравились. Главную же роль в данном случае сыграли категорические вопросы о здоровье и о необходимости постоянных поездок для поправления его за границу. Иметь собственное пристанище в таком месте, которое могло бы устранить эти поездки со всеми их неудобствами, с гостиницами, наймами квартир и т. п., было, конечно, гораздо приятнее. Вот почему, хоть и не без некоторых колебаний, Чехов все же остановился на мысли приобрести дачу в Крыму.

Но как только период этих колебаний миновал, так мы опять видим перед собой того самого Чехова, которого мы уже видели в Мелихове в 1892 году.

Для постройки дачи он купил себе голый участок земли близ Ялты, в татарской деревушке Аутке, на берегу моря. Место было дикое, пустынное, совершенно лишенное расти-

тельности. Оно производило такое безотрадное впечатление, что когда здесь побывала сестра Чехова, Мария Павловна, то она так была огорчена, что не могла даже удержаться от слез. Это, однако, не остановило Чехова.

Только что окончились все формальности, связанные с покупкой, как на этом пустынном месте появились камни, песок, глина, рабочие, и началась кипучая работа по постройке дачи. Сам Чехов почти неотлучно на этой работе, торопит, сердится на медлительность архитектора, рассаживает сад, делает заказы в Москву, по части оборудования будущего дома.

Вначале постройка предполагалась довольно скромных размеров. Но когда Чехов продал свои сочинения известному издателю Марксу за 75 000 рублей, и у него появились деньги, то прежний план тотчас же был изменен. В результате уже к сезону 1899 года на недавно пустынном участке появился роскошный дом, который и сейчас еще считается одним из самых лучших украшений Ялты и ее окрестностей, и молодой сад.

В это же время, в каком-то как будто угаре приобретения, Чехов уже присматривается к окрестностям Аутки, останавливается на очень красивом маленьком имении Кучукой и покупает его. В декабре 1898 года он уже пишет Марии Павловне: «Новость приятная, неожиданная... Я не удержался, размахнулся и купил Кучукой. Уже совершил купчую и на сих днях

поеду туда уже как хозяин и повезу матрас и простыни. Итак, отныне я владеец одного из самых красивых и курьезных имений в Крыму. Там можно будет иметь корову, одну лошадь, одного осли, уток и кур... В сегодняшней моей покупке особенно было заманчиво то, что не нужно ремонта ни на грош и что цена ничтожная, баснословно дикая...» (Ялта, декабрь 1898 года).

Дед, отец, дядя так и смотрят на нас с каждой строчки этого письма Чехова. Та же самая энергия, и то же целеустремление этой энергии.

«Сижу безвыходно дома, читаю или думаю о том, куда мне девать деньги, которые я получаю от Маркса,—пишет он почти в это же время той же Марии Павловне.—Чтобы не спустить их зря, надо найти для них место, но какое? Государственная рента дает менее 4% и 50 000 (деньги получались от Маркса по частям. Д. К.) не дадут мне и 2 000 в год. Пускаться в выгодные предприятия было бы скучно и беспокойно. Пока я надумал одно: растыкать деньги по частям. Одну часть положу в Ялте во Взаимный кредит, здесь дают по 5%, пятьсот рублей, как членский взнос во Взаимном кредите, даст мне не менее 10%. Кучукой дает пока 5—6%, благодаря тому, что там есть табачный сарай, который берут табачники в аренду. Не купили еще тысяч за 10 в Москве домик? Это дало бы тебе квартиру, мне тоже, и избавило бы от

расхода в 600—700 рублей, т. е. мы имели бы 6—7%...» (Ялта, февраль 1899 года).

Так не вяжется этот дух меркантильности с тем Чеховым, которого мы знаем, как автора «Чайки», «Трех сестер», «Вишневого сада», автора его бесконечно поэтических рассказов и повестей. А между тем он был в нем, этот дух, этот инстинкт мещански-буржуазной наследственности, время от времени давал о себе знать, известным образом окрашивал психологию Чехова, его мировоззрение; он-то прежде всего и держал его в уверенности, что «революции в России никогда не будет» и в марксистах мешал ему увидеть что-нибудь другое, кроме воображаемых «надутых физиономий».

При всей доброте Чехова, его мягкости, сердечности, постоянной готовности пойти на помощь кому-нибудь, при полной готовности пожертвовать своими интересами и средствами во имя хорошего, культурного начинания,—все же в нем чувствуется человек осторожный, не любящий риска, беспокойства, склонный к тихому уюту в собственном доме, в собственной усадьбе, уюту, гарантированному от всяких потрясений известной материальной обеспеченностью.

Очень характерно, между прочим, для Чехова! При необыкновенном богатстве и разнообразии мотивов в его творчестве, он за свою жизнь не написал ничего, напоминающего горьковскую «Песню о буреvestнике». Целыми годами живя на берегу Черного моря, поражающего своей

красотой и грандиозностью в бурные дни, он не дал нам в своих художественных произведениях ни одного описания бури на море! Это не его стихия, его душа не ищет бури.

Невольно при мысли о Чехове вспоминается другой поэт, такой же большой мастер пера, как и он, вышедший из недр того же класса и с очень родственной ему идеологией—И. А. Гончаров. «Безобразие, беспорядок»,—говорил Гончаров, когда переживал бурю на Тихом океане во время своего путешествия на Восток. Чехов этого не говорил. Но он еще резче реагировал на такую же бурю на том же океане при своем возвращении с острова Сахалина, когда с револьвером в руке ждал момента пустить в себя пулю в случае, если корабль потерпит крушение.

Покой, тишина, баюкающий шум леса или, еще лучше, сада—вот к чему он чувствовал постоянное влечение.

Но на его несчастье судьба не дала ему возможности насладиться покоем уюта.

Не дала ему этого и дача в Крыму. Пораженный своим недугом, он все последние годы жизни проводит в скитаниях,—то по предписанию врачей, то как будто в каком-то предсмертном томлении духа. Ялта, Москва, Петербург, Уфимская губерния, куда он ездил для лечения кумысом, постоянно сменяют друг друга в этих скитаниях.

Больше всего тянуло Чехова в это время в

Москву, где процветала уже деятельность Художественного театра, в котором ставились с большим успехом его пьесы, и где много было людей, с которыми он связан был или воспоминаниями прошлого, или единством образа мыслей. Меньше же всего ему хотелось оставаться в Крыму. Как мы уже говорили, он и без того не очень был по душе Чехову, а тут еще присоединилась вынужденность его пребывания там. Насколько эта жизнь в Крыму была тягостна для него, лучше всего видно из слов его В. Ладыженскому: «Тебе нравятся моя дача и садик, ведь нравятся? А между тем это моя тюрьма, самая обыкновенная тюрьма, вроде Петропавловской крепости. Разница только в том, что Петропавловская крепость сырая, а это сухая».

Но и приезжая в Москву, Чехов не мог долго в ней оставаться и должен был ездить по настоянию врачей то в одно, то в другое место. И так до конца жизни.

Избрание в почетные академики и отказ от этого звания. Из обстоятельств последних лет жизни Чехова мы остановимся прежде всего на интересном эпизоде в связи с избранием его в академики.

В 1901 году он был избран почетным академиком по отделу изящной словесности при Академии наук. Но не успел еще он проявить себя в новом звании, как последовал нашумевший в свое время инцидент с «высочайшим» неут-

верждением в том же звании академика М. Горького.

В литературном мире это вызвало целую бурю негодования. Недавно тогда же избранный членом Академии Короленко с возмущением, в резких тонах отказался от своего звания, что, конечно, произвело впечатление целой демонстрации в правительственных кругах. Побуждаемый этим примером, пошел на то же и Чехов, но сделал он это не в пример мягче, чем Короленко, ссылаясь на формальные и моральные основания и всячески, видимо, воздерживаясь от резкого тона, что так соответствовало его типично интеллигентскому мягко-либеральному складу.

«В. И. В.! В декабре прошлого года я получил извещение об избрании А. М. Пешкова в почетные академики,—писал он в своем заявлении на имя президента Академии наук,—и я не замедлил повидаться с А. М. Пешковым, который тогда находился в Крыму, первый принес ему известие об избрании и первый поздравил его. Затем, немного погодя, в газетах было напечатано, что ввиду привлечения Пешкова к дознанию по 103 ст., выборы признаются недействительными, причем было точно указано, что это извещение исходит от Академии наук, а так как я состою почетным академиком, то это извещение ча-

стью исходило и от меня. Я поздравлял сердечно, и я же признавал выборы действительными,—такое противоречие не укладывалось в моем сознании, примирить с ним свою совесть я не мог. И после долгого размышления я мог прийти только к одному решению, крайне для меня тяжелому и прискорбному, а именно, покорнейше просить В. И. В. о сложении с меня звания почетного академика».

Такое заявление, составленное в таких мягких, почтительных тонах, конечно, не могло произвести особого впечатления. Российское дореволюционное правительство было не из тех, на кого могло бы подействовать это кроткое, почти просительное выражение протеста. Нужен был грубый и резкий удар, который мог бы сплотить вокруг себя общественное мнение, угрожать в лучшем случае европейским скандалом, а не благородный только жест. Вот почему заявление Чехова только и сыграло роль этого благородного жеста, говоря несколько не иронически.

Женитьба на О. Л. Книппер. В том же, 1901 году, когда Чехов был избран академиком, в жизни его произошло еще одно крупное обстоятельство, но уже чисто личного свойства,—это женитьба его на артистке Художественного театра, ныне еще здравствующей и работающей на сцене того же театра—Ольге Леонардовне Книппер.

Судя по письмам Чехова, мысль о женитьбе не редко приходила ему в голову. Но необходимость жить для семьи—отца, матери и сестры,—видимо, заставляла его всегда отбрасывать эту мысль. И только под конец жизни, когда совершенно упрочилось материальное положение и его и семьи, в которой к тому же осталось всего только два человека—мать да сестра,—он осуществил это свое, как видно, давнишнее намерение.

Неизвестно по какой причине Чехов донельзя упростил свое вступление в брак.

«25 мая 1901 года,—рассказывает об этом брат его Михаил Павлович,—он неожиданно женился на О. Л. Книппер. Свадьба его произошла так таинственно, что о ней не знали ни мать, ни сестра, ни даже брат Иван Павлович, который виделся с ним в то же утро в Москве. Прямо из-под венца молодые супруги отправились на кумыс в Уфимскую губернию» («Антон Павлович и его сюжеты»).

Семейная жизнь Чехова сложилась не совсем благоприятно. Сам он по состоянию своего здоровья почти все время должен был проводить в Крыму, а жена, не желая бросать сцены, жила в Москве, что, видимо, очень его огорчало и заставляло тосковать.

Письма его к жене из Крыма, написанные в обычном шутилом тоне, полны не только необычайно глубокой, тонкой любви, но нередко и грусти.

За эту жертву Художественный театр отблагодарил Чехова тем, что 17 января 1904 года, когда ставилась только что написанная им пьеса «Вишневый сад», с необычайной теплотой и сердечностью отпраздновал даже не совсем еще исполнившийся юбилей двадцатипятилетия его литературной деятельности. «Наш театр в такой степени обязан твоему таланту, твоему нежному сердцу, твоей чистой душе, что по праву ты можешь сказать: «это мой театр»,—говорил на этом праздновании В. И. Немирович-Данченко. Среди адресов, которые здесь читались, обращает на себя внимание адрес Общества любителей российской словесности, в которое Чехов в 1903 году был избран временным председателем, и адреса наиболее либеральных тогдашних органов печати—журнала «Русская мысль» и газеты «Русские ведомости», в которых он сотрудничал и раньше, а главным образом после своего расхождения с Сувориным и «Новым временем» из-за на шумевшего в свое время дела французского офицера Дрейфуса, неправильно обвиненного в измене, а вернее из за перемены в убеждениях самого Чехова.

К сожалению, сам Чехов в это время физически был настолько слаб и болен, что не мог уже должным образом реагировать на все эти проявления общественных симпатий к нему. Все это было за какие-нибудь пять месяцев до его смерти.

Чехов в пред-
смертные
годы.

1903 и 1904 годы в жизни Чехова—это годы быстрого приближения к трагической развязке—смерти.

Мы, однако, жестоко ошиблись бы, если бы стали думать, что настроение его в эти годы было настроением умирающего человека, поставившего над всем крест и потерявшего всякие надежды.

Правда, нотки мрачного уныния, обусловливавшиеся, конечно, состоянием его здоровья, давно уже стали звучать в его голосе. Еще в 1898 году, живя в Ялте и наблюдая над ее жизнью, он говорил: «Вначале, как только я здесь поселился, все эти умирающие чахоточные на меня производили угнетающее впечатление... Меня возмущали эти контрасты, которые нигде так больно не режут чувства, как в Ялте. С одной стороны, сытое довольство, жизнь, полная разгула, с другой стороны—отчаянная и тщетная борьба со смертью. Я даже одно время весь ушел в нужды и потребности этих бедных чахоточных: затеял санаторию, собирал пожертвования. Но потом остыл. Это борьба с ветряными мельницами... В сущности весь мир населен чахоточными... Все одинаково безнадежно больны, и всех ждет один конец. Все одинаково жалки, и эти развлечения тоже... Развлечение—ведь это не более, как забытье...» «Я человек конченный»,—говорит Чехов в это время. «Главное, будьте веселы,—писал он

Л. А. Авилевой уже в феврале 1904 года, — смотрите на жизнь не так замысловато; вероятно, на самом деле она гораздо проще. Да и заслуживает ли она, жизнь, которой мы не знаем, всех мучительных размышлений, на которых изнашиваются наши российские умы, — это еще вопрос» (Москва, февраль 1904 года).

Но все же это настроение уныния совершенно тускнеет перед тем настроением бодрости, ожидания чего-то светлого в близком будущем, — настроением, которым был преисполнен Чехов в эти же годы, присматриваясь к общественной жизни.

Об этом между прочим прекрасно нам рассказывает С. Елпатьевский, вспоминая, как он в феврале или марте 1904 года, по приезде из Москвы, встретился с Чеховым в Ялте, вызвавшим его экстренно по телефону как будто бы по спешному и неотложному делу. «...Я никогда не видел его таким возбужденным и таким не то что веселым, а радостным, — рассказывает Елпатьевский. — Никаких спешных дел, которые бы надо было немедленно решать, не оказалось, и совсем мы об ялтинских делах не говорили; — очевидно ему было необходимо видеть меня и расспросить о том, что делается в Петербурге и Москве, и, должно быть, совершенно необходимо было поделиться своими новыми мыслями, новыми чувствами. И расспрашивал он не о литераторах и не о свежих литературных новостях, которыми всегда преимущественно интел-

лесовался, а о том что говорилось и чувствовалось на Пироговском съезде врачей в Петербурге, о том, что делается в союзе «Освобождение», какое настроение в передовых общественных кругах Москвы и Петербурга, когда и как ждут падения старого строя и какие меры к тому принимаются... И тон его был другой и манеры другие. Не было прежней мягкости и терпимости, и неслыханные раньше реплики вырывались у него по адресу людей, к которым он так недавно относился с большою мягкостью... И от подлецов и мерзавцев он переходил к тому превосходному, что делается в России и все убеждал меня, что теперь уже кончено, что все тронулось с места и назад не воротится, и чудесно все устроится...»

У нас нет, конечно, оснований думать, что Чехов совершенно правильно представлял себе характер и сущность надвигавшихся тогда в России событий. Наоборот, он, видимо, и теперь оставался при той вере, о которой писал в 1898 году И. И. Орлову: «Я верую в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России — там и сям — интеллигенты они, или мужики, — в них сила, хотя их мало. Несть праведен пророк в отечестве своем, и отдельные личности, о которых я говорю, играют незаметную роль в обществе, они не доминируют, но работа их видна; чтобы там ни было, наука все подвигается вперед и вперед, общественное самосознание нарастает,

нравственные вопросы начинают приобретать беспокойный характер и т. д. и т. д.—и все это делается помимо прокуроров, инженеров, гувернеров, помимо интеллигенции en masse и не смотря ни на что» (Ялта, февраль 1899 года).

Повидимому, как и тогда, он думал больше о переустройстве общественных отношений под натиском революции, а об изменении моральных и общекультурных основ общественной жизни под влиянием пробудившегося общественного самосознания. Но самое отношение его к этому событию, мысли о моменте его наступления были теперь у него совершенно иной окраски, чем раньше, несколько роднящей его с политическими застрельщиками из лагеря буржуазно-либеральной интеллигенции того времени.

Но дожить до того, о чем Чехов думал, как о завтрашнем дне, ему все же не пришлось.

Весной 1904 года он чувствовал себя так плохо, что снова по требованию врачей вынужден был отправиться за границу для лечения.

Местом, куда Чехов должен был ехать, был избран курорт Баденвейлер в горном Шварцвальде. Сюда-то он и направился в сопровождении жены 3 июня 1904 года.

В первое время по прибытии на курорт Чехов почувствовал себя лучше, писал о том, что здоровье входит в него не золотниками, а судами, мечтал даже о скором возвращении в

Россию, но в конце того же июня в состоянии здоровья его произошло резкое ухудшение, и в ночь на 2 июля он скончался.

Смерть его поражает своей красотой и спокойствием. Ее, кроме О. Л. Книппер, описал нам журналист Г. Б. Иоллос, с которым Чехов познакомился проездом через Берлин и который присутствовал при его кончине. «В ночь с четверга на пятницу (2 июля. Д. К.),—пишет Иоллос,—когда после комфарного шприца пульс, повидимому, не поправился, стало очевидно, что катастрофа приближается. Проснувшись в 1-м часу ночи, Антон Павлович стал бредить, но затем пришел в себя и с грустной улыбкой сказал жене, которая клала ему на грудь мешок со льдом: «На пустое сердце льда не кладут»... Последние его слова были: «Умираю», а затем еще тише, по-немецки к доктору: «Ich sterbe». Пульс становился все тише, умирающий сидел на постели, согнувшись и подпертый подушкой, потом вдруг склонился на бок, и без вдоха, без видимого внешнего знака, жизнь остановилась. Необыкновенно довольное, почти счастливое выражение появилось на сразу помолодевшем лице. Сквозь широко раскрытое окно веяло свежестью и запахом сена, над лесом показалась заря. Кругом ни звука—маленький курорт спал; врач ушел, в доме стояла мертвая тишина; только пение птиц доносилось в комнату, где, склонившись на бок, отдыхал от трудов замечательный человек и работник, склонившись на плечо

женщины, которая покрывала его слезами и поцелуями».

5 июля тело покойного было отправлено в Россию.

Официальная Россия встретила его очень не приветливо. Произошла какая-то путаница с сообщением о времени прихода поезда в Петербург, и его никто, кроме нескольких репортеров, не встретил на вокзале; из Петербурга в Москву гроб был отправлен в вагоне, на котором не позаботились стереть надпись «свежие устрицы». Но Россия общественная в Москве устроила покойному очень торжественную встречу и очень торжественные похороны.

Похоронен Чехов на кладбище Новодевичьего монастыря, рядом с могилой отца.

12 (25) июля 1908 года в Баденвейлере, в Германии, был открыт памятник ему, сооруженный на средства, собранные Художественным театром.

К стыду человека, этот памятник в начале войны 1914 г. был снят и перелит немцами на пушки.

Так перед нашими глазами прошла вся жизнь этого поистине обаятельного человека, обаятельного даже несмотря на все минусы его идеологии.

Мы старались не обойти молчанием по возможности ни одного крупного обстоятельства жизни Чехова, имеющего то или иное общественное значение. Но одних этих обстоятельств все же недостаточно для полной картины раз-

вития его мировоззрения. Необходимо знакомство с его творчеством, знакомство с эволюцией этого творчества, так как ничто так ярко не отражает процесса формирования его личности, как именно эта эволюция.

Поэтому, не задаваясь целями критики, а преследуя все ту же цель ознакомления с личностью Чехова, с его мировоззрением, мы должны будем коснуться и его литературной деятельности.

ТВОРЧЕСТВО ЧЕХОВА

Начало творчества—период беззадумчивого смеха.

Если не считать ранних юношеских опытов Чехова на литературном поприще, которые были им проделаны еще в бытность его в Таганрогской гимназии и которые не появились в печати, то можно будет сказать, что литературная деятельность его началась в 1880 году, когда он был студентом первого курса Московского университета. Вышедшее под псевдонимом «А. Чехонте» в этом году его первое произведение—«Письмо донского помещика к своему ученому соседу»—явилось, как мы уже говорили, началом целого ряда мелких юмористических рассказов, печатавшихся во многих юмористических журналах и подписанных опять-таки не настоящим именем автора, а разными псевдонимами, чаще всего «А. Чехонте».

Число этих рассказов для начинающего писателя было очень велико, темы их чрезвычайно разнообразны, но господствующий тон их всегда

одинаков,—это тон бодрого, веселого, как говорят, «беззадумчивого смеха». Целый поток этого смеха, как бы сдерживаемый раньше какой-то невидимой плотиной, прорвался вдруг широкой, шумной рекой и заполнил собой все.

Обладатель его молодой, тогда еще цветущий здоровьем, бодрый, жизнерадостный студент младших курсов, еще не задумывающийся над окружающей его действительностью, стоящий в стороне от всякого рода «проклятых вопросов» и изумительно чуткий ко всему, над чем можно посмеяться.

Старый дед Егор Чех, пишущий «ученое» письмо, в котором он «своим умом» доходит до разрешения философских вопросов, молодой врач в Воскресенской больнице, вырывающий пациенту здоровый зуб вместо больного, и т. д. и т. д.—все это вещи, мимо которых не в силах пройти молодой талант, не разразившись своим задорным хохотом.

О том, как безудержно, как свободно лился этот «хохот» из-под пера молодого Чехова, рассказывает нам он сам: «Прежде я, бывало, писал, как птица поет. Сяду и пишу. Не думаю, как и о чем. Само писалось. Я мог писать когда угодно. Написать очерк, рассказ, сценку—мне не стоило никакого труда. Я, как молодой теленок или жеребенок, выпущенный на вольный и светлый простор, прыгал, скакал, брыкался, махал хвостом, мотал смешно головой. Смеялся сам и смешил окружающих. Я брал

жизнь и, не задумываясь над нею, тормозил ее туда и сюда. Щипал ее, щекотал, хватал за бока, тыкал пальцем в бока, под грудь, хлопал по животу. Было самому весело, и со стороны, должно быть, выходило очень смешно. Я сам иногда беру теперь прежние рассказы, читаю и очень смеюсь. Думаю: «Вот как писал».

Это и было как раз то время, когда Чехов задорно предлагал Короленко: «Хотите—завтра будет рассказ, заглавие «Пепельница»?

Те, кто ошибочно хочет видеть в Чехове только певца «хмурых людей» и «хмурого времени», может и в этих мелких рассказах первых лет его творчества увидеть целую социально-осмысленную картину. Дело-де не в том, что здоровый зуб выдернут вместо больного, а в том, в чьих руках находилась медицина в провинциальной России; дело не в отвинченной с рельс гайке для грузила, а в той темноте, невежестве и косности крестьянской массы, благодаря которой она не понимала и не могла понять преступности своих действий, и т. д. и т. д.

Может быть, это и так. Но нужно иметь в виду, что сам-то Чехов меньше всего думал об этой осмысленности, как мы и видели только что из собственного его признания.

И те, кто близко к сердцу принимал судьбу его молодого таланта, как, например, старый ветеран литературы Д. В. Григорович, прекрасно это понимал и уже находил нужным пре-

достеречь Чехова от этого безудержного, беззадумчивого смеха.

В своем письме, написанном после выхода в свет одного из сборников чеховских рассказов, он, Григорович, восторгаясь их прелестью, свежестью и остроумием, чувствуя в них силу большого, еще не вполне развернувшегося, но уже очень много обещающего таланта, в то же время предупреждает Чехова, что ему пора уже подумать о своем будущем, начать внимательнее и глубже всматриваться в жизнь и приняться за создание чего-нибудь более крупного и более ценного, чем его мелкие рассказы. Старый классик, стоявший на той точке зрения, что литература есть кафедра, с которой должно всегда раздаваться учительное слово, не замкнутое в узкий круг только эстетических переживаний, звал на эту кафедру и Чехова, как звали его туда и все те, кто уже по первым его опытам прозревал всю силу и мощь его таланта.

И Чехов не остался глух к этим призывам.

Конечно, не только благодаря им, но и вследствие того, что и сам он рос и зрел духовно, вследствие того, что писать он начал в такую тяжелую, мрачную эпоху безвременья, которая и не такого чуткого, как он, человека должна была заставить перейти к другому настроению и иначе взглянуть на окружающую действительность.

Точь-точь как когда-то Гоголь, которого он

больше всего напоминает из всех русских сатириков и юмористов по характеру своего смеха, Чехов как бы с изумлением остановился перед вопросом: неужели в том, что он пишет, можно увидеть что-нибудь другое, кроме простого желания посмеяться; неужели после прочтения всего написанного им можно вынести то впечатление, которое испытал когда-то Пушкин при чтении первых глав «Мертвых душ» и которое он выразил словами: «Боже, как грустна наша Россия!» И, как Гоголь, он сделал решительный поворот в своем творчестве и стал рисовать «всю тину опутавших человека мелочей», рисовать «пошлую действительность» своего времени, только гораздо больше, чем Гоголь, смягчая ее отражением своей необычайно доброй души и артистически тонкого чутья правды.

Восьмидеся-
тые годы. Вто-
рая их поло-
вина.

Русская же действительность того времени была такова, что от нее и в самом деле можно было прийти в отчаяние.

Восьмидесятые годы прошлого века, как мы уже вскользь об этом упоминали, были одной из самых мрачных эпох нашего недавнего прошлого.

После разгрома народнических организаций семидесятых годов, после введения системы белого террора и усиленного нажима на печать и общественные организации со стороны правительства в стране воцаряется какой-то покой кладбища. Умолкает голос не только радикаль-

ной, но даже и просто либеральной прессы, притупляется чувство права личности, надолго хоронятся всякие надежды на политическое и социальное переустройство государства, все революционно-мыслящее глубоко уходит в подполье, махровым цветом расцветает политический и административный произвол, и на почве всего этого воцаряется обывательщина, обывательщина мысли, чувства, дела.

Эта эпоха безвременья порождалась социальными условиями восьмидесятых годов, в свою очередь обуславливавшимися тогдашними производственными отношениями.

В хозяйственном отношении Россия тогда все еще переживала результаты «освобождения» крестьян, крушения натурального хозяйства и перестраивалась для перехода к хозяйству капиталистическому. Построенного было еще очень мало.

Дворянство как класс умирало. Буржуазия еще довольно робко поднимала голову, да и то только в крупных городах и в крупных промышленных центрах. Людей же такого масштаба, как дед и отец Чехова, было еще и совсем не слышно. Крестьянство переживало все печальные последствия своего фактически безземельного «освобождения». Класс пролетариата, в истинном смысле этого слова, только еще формировался.

Шла общая ломка, и в пыли от этой ломки участникам ее трудно было видеть, кто из них

победит, кто будет побежден, что погибнет и что уцелеет; задыхались же в этой пыли почти все одинаково, особенно же тот, кому преимущественно дано было в удел мыслить и чувствовать—интеллигенция, и прежде всего интеллигенция дворянская.

Жить в таких условиях, конечно, было невозможно. Хоть какой-нибудь выход из создавшегося положения найти было нужно. И за искание такого выхода взялась опять-таки главным образом интеллигенция.

Теория «малых дел», толстовское «непротивление» и опрощение—вот в сущности было все, что она нашла в этих своих поисках. Но так как это все же был какой-то выход, то и теория «малых дел», призывавшая вместо широких замыслов и попыток радикального пересоздания жизни к скромному служению маленькому, скромному делу, и толстовство, призывавшее поставить крест над культурой, завоеваниями прогресса—наукой и искусством,—нашли себе в восьмидесятые годы очень широкое распространение.

Сын своей эпохи и сын своего класса, как и всякий поэт, Чехов всеми корнями своего творчества ушел в только что обрисованное нами безвременье. Отсюда и его собственная «хмурость» в восьмидесятые годы, и «хмурые люди» его произведений—все то, что с легкой руки некоторой части критики было учтено как его пессимизм и что таковым отнюдь не является. Это именно только след влияния на него эпохи,

а не общий склад его мировоззрения, но след, правда, очень яркий и резкий.

По собственному признанию Чехова, он не один год находился под очень сильным влиянием толстовства, пока это влияние не было побеждено его «мужицкой кровью» и силой полученного им на медицинском факультете образования, силой веры «в электричество и пар». И это влияние, конечно, не могло не отразиться на его творчестве.

«Пятнадцать лет я внимательно изучал земную жизнь,—говорит герой рассказа «Пари», пятнадцать лет вследствие пари с миллионером просидевший в одиночестве, изучивший философию, много иностранных языков, овладевший всеми завоеваниями человеческого ума в науке,—и я презираю ваши книги, презираю все блага мира и мудрость. Все ничтожно, бrenно, призрачно и обманчиво, как мираж. Пусть вы горды, мудры и прекрасны, но смерть сотрет вас с лица земли наравне с подпольными мышами, а потомство ваше, история, бессмертие ваших гениев замерзнут или сгорят вместе с земным шаром. Вы обещали и идете не по той дороге. Ложь принимаете вы за правду и безобразие за красоту... я удивляюсь вам, променявшим небо на землю. Я не хочу понимать вас».

«Мне так кажется, я так чувствую, что в нашей борьбе со злом есть какая-то фальшь, точно что-то недосказано или скрыто»,—говорит его героиня в рассказе «Хорошие люди». «Быть мо-

жет, человек ошибается, думая, что он обязан и имеет право бороться со злом так же, как ошибается, думая, например, что сердце имеет вид червонного туза. Очень может быть, что в борьбе со злом мы имеем право действовать не силой, а тем, что противоположно силе, т. е. если ты, например, хочешь, чтобы у тебя не украли этой картины, то не запирай ее, а отдай...»

Герой рассказа «Моя жизнь» Полознев ищет выхода в скромном физическом труде и приводит такие доводы своему отцу инженеру: «То, что вы называете общественным положением, составляет привилегию капитала и образования. Небогатые же и необразованные люди добывают себе кусок хлеба физическим трудом, и я не вижу основания, почему я должен быть исключением».

Все это очень ясные следы влияния на Чехова со стороны толстовства. Правда, мы не видим здесь прямого заявления его на этот счет. Но это уже свойство его, как художника, обязанностью которого, по мнению Чехова, было не давать ответы, а только ставить вопросы. «Требую от художника сознательного отношения к работе, вы правы, но вы смешиваете два понятия: решение вопроса и правильная постановка вопроса. Только второе обязательно для художника. В «Анне Карениной» и в «Онегине» не решен ни один вопрос, но они вас вполне удовлетворяют потому только, что все вопросы в них поставлены правильно. Суд обязан ставить

правильно вопросы, а решают пусть присяжные, каждый на свой вкус»,—писал Чехов А. С. Суворину в 1888 году.

Мысли, связанные с толстовством,—это мысли, близкие сердцу Чехова, владевшие его сознанием и несомненно отражавшие целый период в процессе развития его идеологии.

Занимала мысль Чехова, видимо, и теория «малых дел», но в гораздо меньшей степени, чем толстовство. Испытавший неудачи от разного рода смелых и широких начинаний, герой его драмы «Иванов» говорит в первом действии доктору Львову: «Вы, милый друг, кончили курс только в прошлом году, еще молоды и бодры, а мне тридцать пять. Я имею право вам советовать. Не женитесь вы ни на еврейках, ни на психопатках, ни на синих чулках, а выбирайте себе что-нибудь заурядное, серенькое, без ярких красок, без лишних звуков... Да хранит вас бог от всевозможных рациональных хозяйств, необыкновенных школ, горячих речей. Запритесь себе в свою раковину и делайте свое маленькое, богом данное дело... Это теплее, честнее и здоровее».

Правда, говорит это человек уставший, несмотря на свои тридцать пять лет уже разочаровавшийся в жизни, но в то же время это человек, по толкованию самого Чехова, являющийся «натурой честной и прямой», человек, о котором он прямо говорит в письме к Суворину: «Если Иванов выходит у меня подлецом

или лишним человеком, а доктор великим человеком, если непонятно, почему Сарра и Саша любят Иванова, то, очевидно, пьеса моя не вытанцовалась».

И то обстоятельство, что в уста именно этого человека, явно симпатичного Чехову, он вложил защиту «малых дел», свидетельствует о том, что защита эта не чужда была и сердцу его самого.

Но и толстовство и теория «малых дел» — все это было лишь той соломинкой, за которую хватался утопающий в безотрадной действительности конца восьмидесятых годов Чехов.

Едва он оставлял эту соломинку, как его тотчас же охватывало состояние полной безнадежности. Веря в науку, в культуру, в прогресс, он и оправдания своей вере искал в той среде, которая ближе всего стояла и к науке, и к культуре, — в интеллигенции. Но что он там находил, об этом лучше всего говорит нам та же его драма «Иванов», написанная, как мы уже об этом говорили, в конце восьмидесятых годов (1888).

«Был я молодым, горячим, искренним, не глупым, — говорит о себе ее герой интеллигент — дворянин Иванов. — Любил, ненавидел и верил не так, как все, работал и надеялся за десяти-рых, сражался с мельницами, бился лбом о стены; не соразмерив своих сил, не рассуждая, не зная жизни, я взвалил на себя ношу, от которой сразу захрустела спина и потянулись жилы;

я спешил расходовать себя на одну только молодость, пьянел, возбуждался, работал, не знал меры. И скажи: можно ли было иначе? Ведь нас мало, а работы много-много! И вот как жестоко мстит мне жизнь, с которою я боролся! Надорвался я! В 30 лет уже похмелье, я стар, я уже надел халат. С тяжелой головой, с ленивой душой, утомленный, надорванный, надломленный, без любви, без цели, как тень, слоняюсь я среди людей и не знаю: кто я, зачем живу, чего хочу?..

Перед тобой стоит человек, в 35 лет уже утомленный, разочарованный, раздавленный своими ничтожными подвигами...» «Я умираю от стыда при мысли, что я, здоровый, сильный человек, обратился не то в Гамлета, не то в Манфреда, не то в лишние люди... сам черт не разберет...»

Иванов занимается сельским хозяйством, но как? «Имение идет прахом, — сам признает он, — леса трещат под топором. Земля моя глядит на меня как сирота...» Он постоянно в долгу, не может платить рабочим, вечно хлопочет об отсрочке векселей. «Помещики тоже, черт побери, землевладельцы... Рациональное хозяйство... — издевается над ним управляющий, плут и пройдоха Боркин. — Тысяча десятин земли и ни гроша в кармане. Винный погреб есть, а штопора нет...»

Но Иванов еще далеко не худшее из того, что видел Чехов. Неизмеримо хуже дядя его,

граф Шабельский, который «был богат, свободен, немного счастлив, а теперь... нахлебник, приживалка, обезличенный шут», выпрашивающий шляпу и перчатки у своего племянника, чтобы поехать в гости. Все его мечты сводятся к тому, чтобы продать свой графский титул — жениться на богатой, или выиграть сто — двести тысяч. «А что бы вы сделали, если бы выиграли?» — спрашивает его Сарра, жена Иванова. «Я прежде всего поехал бы в Москву и цыган послушал. Потом... потом махнул бы в Париж. Нанял бы себе там квартиру, ходил бы в русскую церковь... По целым дням сидел бы на жениной могиле и думал. Так бы я и сидел на могиле, пока не окошел».

Свой выход Иванов нашел в самоубийстве, у Шабельского нет и этого выхода: его конец еще хуже.

Но не только Ивановы и Шабельские, даже и люди такой необычайно высокой квалификации, как ученнейший профессор в рассказе «Скучная история», зашли в какой-то безнадежный тупик, и на вопросы молодежи: как жить? что делать? отвечают, как он своей воспитаннице Кате: «Ничего я не могу сказать тебе, Катя... По совести, Катя, не знаю... давай завтракать...»

У нас нет оснований думать, что и сам Чехов дошел в восьмидесятые годы до такой же степени безнадежности, до такого пессимизма. Его письма этой поры не дают нам права на

такое заключение. Как раз в них-то именно и нет тех тонов, которые зазвучат несколько позднее, видимо, под влиянием болезни. Но что им владело состояние грусти, даже переходящей в тоску, об этом свидетельствует весь характер его творчества этой поры. Ведь и его поездка на Сахалин, предпринятая на грани восьмидесятих и девяностых годов, как мы уже знаем, была попыткой как-нибудь успокоить свою социально встревоженную совесть. Чтобы освободиться от этой тоски и иными глазами посмотреть на будущее, нужна была перемена в общественной атмосфере, и самому Чехову нужно было шире взглянуть на жизнь, не замыкаясь в узком кругу интеллигентщины, куда завел его общий ход его развития. Нужны были условия, при которых говорил бы не только его мозг интеллигента, но заговорила бы вся его мужицко-купеческая кровь. Эти условия стали назревать у нас в девяностые годы прошлого века, медленно, постепенно, но все же стали назревать. И так же постепенно, как менялись они, менялось мироощущение и самого Чехова, а в связи с этим и тона его творчества.

Девяностые и девятисотые годы. Девяностые годы несли с собой значительные изменения в ту обстановку, в которой жила страна раньше.

Правда, попрежнему продолжался процесс умирания русского дворянства и разложение

его интеллигенции, но уже значительно смелее была буржуазия, особенно верхушка ее, а главное—очень ощутительно начали давать себя чувствовать «низы» — крестьянство и рабочие. Говорить о каких-либо особо осязательных переменах в жизни, конечно, еще не приходилось, все это были пока еще довольно неуклюжие еще не вполне оформленные движения после сна, но все же это было пробуждение, а не прежняя мертвая спячка.

На это пробуждение должен был отзываться художник—писатель, и Чехов, как очень чуткий художник, на него, конечно, отозвался.

Девяностые годы в его творчестве—это годы, когда в нем, наряду с прежними тонами грусти и тоски, появляются уже и тона бодрости, здоровой критики, когда шире становится его кругозор художника, шире и глубже делается постановка социальных вопросов.

Прежде всего он резко прерывает со своим прежним примиренчеством, верой в силу «малых дел» и со своим толстовством.

В рассказе «Дом с мезонином» он безжалостно развенчивает красавицу богачку Лиду, которая, владея двумя тысячами десятин, нашла себе дело в том, чтобы лечить мужиков, не будучи врачом, учить крестьянских детей, не будучи учительницей, бороться с злоупотреблениями в земстве, не будучи земским деятелем. «Правда, мы не спасем человечества и, быть может, во многом ошибаемся, но мы делаем то,

что можем, и мы—правы. Самая высокая и святая задача культурного человека—это служить ближнему, и мы попытаемся служить, как умеем»,—говорит она не соглашающемуся с ней художнику. Но ни в чем не видно результатов ее служения ближнему. Зато, когда она, сухая, замкнутая в свою маленькую идею маленькой пользы, сталкивается с настоящей, живой любовью своей сестры к тому же художнику, она безжалостно губит эту любовь, как что-то ненужное и вредное.

Характерен конец этого рассказа

Дом с мезонином опустел. Нет сестры Лиды Мисюсь, нет ее матери, осиротелым уходит отсюда художник, влюбленный в Мисюсь, остается одна только Лида, и в пустых комнатах слышен только ее голос, диктующий обучающейся у нее девочке: «Вороне... где-то... бог поспал... кусочек сыру».

Еще резче вскрывает Чехов несостоятельность принципа «малых дел» в рассказе «Крыжовник», у героя которого весь смысл жизни ушел в то, чтобы приобрести собственное именье, есть свой собственный крыжовник из своего собственного сада и который даже не замечает, как он превращается в самодовольное, черствое существо, повторяющее одни только истины, и таким тоном, точно министр: «Образование необходимо, но для народа оно преждевременно», «телесные наказания вообще вредны, но в некоторых случаях они полезны и незаменимы».

Точно так же осуждает Чехов и толстовское опрощение, обрекая своего Полознева, героя рассказа «Моя жизнь», на целый ряд мучительных переживаний, в связи с его попытками стать опрощенцем, и на полное одиночество в результате этих переживаний.

Но отбрасывая толстовство и «теорию малых дел», Чехов не переставал искать новых, более здоровых оснований, на которых могла бы остановиться его ищущая мысль. В поисках этих оснований, в разрешении вопроса о том, у кого и где искать себе опоры, он с роковой неизбежностью сталкивался, конечно, с вопросом социальным. А попадая в область этого вопроса, Чехов снова обращал свои взоры на тех, на кого они обращались у него и раньше, в восьмидесятые годы,—на дворянство и на его интеллигенцию.

Но если и раньше отношение его к ним было критическое, то, теперь этот критицизм становится еще острее, еще жестче. Картины вырождающегося дворянства, его экономического и морального упадка все чаще и чаще встречаются теперь в творчестве Чехова, а степень этого вырождения принимает под пером его прямо ужасающий характер. Взять хотя бы описание дворянства в рассказе «Моя жизнь», где выведены сын и мать Чепраковы, еще недавно богатые владельцы имения, а теперь разорившиеся и опустившиеся люди. «Сын генеральши, Иван Чепраков, служил кондуктором на нашей доро-

ге,—рассказывает герой этого произведения Полознев.—За зиму он сильно похудел и ослабел, так что уже пьянел от одной рюмки и зябнул в тени. Кондукторское платье он носил с отвращением и стыдился его, но свое место считал выгодным, так как мог красть свечи и продавать их...» «Послушай,—говорил он суетливо,—жизнь у меня теперь подлейшая. Главное, всякий прапорщик может кричать: «ты, кондуктор! ты!» Понаслушался я, брат, в вагоне всякой всячины, и, знаешь, понял: скверная жизнь! Погубила меня мать! Мне в вагоне один доктор сказал: если родители развратные, то дети у них выходят пьяницы или преступники. Вот оно что».

Еще более отвратительным существом рисуется мать этого уroda.

Полознев описывает нам свою первую встречу с ней.

«Это, мамаша, Полознев,—представил меня Чепраков.—Вы дворянин?—спросила она странным, неприятным голосом; мне показалось, будто у нее в горле клокочет жир... Она говорила, ела, но во всей ее фигуре было уже что-то мертвенное, и даже как будто чувствовался запах трупа. Жизнь в ней едва теплилась, теплилось и сознание, что она барыня, помещица, имевшая когда-то своих крепостных, что она—генеральша, которую прислуга обязана величать превосходительством...»

Особую разновидность дворянского вырождения изображает Чехов в лице таких господ,

как помещик Рашевич из рассказа «В усадьбе». «Не чумазый... не кухаркин сын, дал нам литературу, науку, искусство, право, понятие о чести, долге,—проповедует эта «жаба», как его все называют.—Всем этим человечество обязано исключительно белой кости, и в этом смысле, с точки зрения естественно-исторической, плохой Собакевич, только потому, что он белая кость, полезнее и выше, чем самый лучший купец, хотя бы этот последний построил пятнадцать музеев. И если я чумазому или кухаркину сыну не подаю руки и не сажаю с собой за стол, то этим я охраняю лучшее, что есть на земле, и исполняю одно из высших предназначений матери природы, ведущей нас к совершенству...» Ссылаясь на законы природы, на науку, Дарвина, становясь таким образом на «научную» почву, эта «жаба белой кости» предлагает: «Давайте все мы сговоримся, что едва близко подойдет к нам чумазый, как мы бросим ему прямо в харю слова пренебрежения: «руки прочь! Знай свой шесток!» Прямо в харю!—продолжает Рашевич с восторгом, тыча перед собой согнутым пальцем—в харю! в харю!»

Не менее беспощаден был Чехов в девяностые годы и в отношении интеллигенции, хотя отношение его к ней было, конечно, гораздо мягче и добрее, чем к Чепраковым и Рашевичам. Часть ее он рисует вялой, дряблой, безжизненной, безвольной, как Лаевский в «Дуэли»; часть, даже наиболее квалифицированную, как профессор

Серебряков в «Дяде Ване»,—сухой и бездарной, несмотря на профессорство.

«Старый сухарь, ученая вобла... подагра, ревматизм, мигрень, от ревности и зависти вспухла печенка,—характеризует его Войницкий, дядя Ваня.—Человек ровно двадцать пять лет читает и пишет об искусстве, ровно ничего не понимая в искусстве... двадцать пять лет переливает из пустого в порожнее. И в то же время какое самомнение! Какие претензии!..»

Можно было бы дать еще целый ряд картин упадочничества интеллигенции—и дворянской (Лаевский) и разночинной (Серебряков), и уныло поющей и поддельвающейся под энергичных шестидесятников (Николай Николаевич—«Именины»), но этого, пожалуй, и не нужно делать: картина везде будет получаться одна и та же. Да она и не могла быть иной, так как рисовал ее Чехов, совершенно потеряв всякую веру в интеллигенцию. Именно в девяностых годах он писал И. И. Орлову: «Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее недр». «Вспомните, что Катков, Победоносцев, Вышнеградский—это питомцы университетов, это наши профессора, отнюдь не бурбоны, а профессора, светила...» (Ялта, февраль 1899 года).

Ни дворянство, ни интеллигенция, взятая в целом, не вызывали в Чехове никаких надежд,

когда он думал о будущем и верил в непобедимую силу прогресса.

Но внимание его, человека с мужицко-купеческой кровью и с буржуазно-демократическим складом убеждений, не могло не обратить на себя оживление торгово-промышленной жизни в России, которое началось в девяностые годы, и в связи с этим усиление класса буржуазии.

Буржуазия, видимо, и была тем классом, с которым были связаны надежды Чехова на лучшее будущее во вторую половину его жизни.

Он, конечно, не закрывал глаз на ее темные стороны. Там, где он наблюдает ее в состоянии хищнического накопления, буржуазия нередко приводит его в ужас. В повести «В овраге» он рисует нам ее жадной, хищной и не останавливающейся ни перед какими препятствиями для достижения своих целей. Анисим, сын купца Цыбукина, в стремлении разбогатеть как можно скорее, становится фальшивомонетчиком; Анисья, невестка его, устроившая со своей дороги конкурента в лице ребенка, сына другой невестки, Липы, убивает его, обливая кипятком, выживает из дома и самого старика Цыбукина; сама она становится как бы рабой страсти наживы. «И скажи, сделай милость, когда она спит!—говорит о ней Липа.—С полчаса спит, а там вскочит, ходит, все ходит, заглядывает: не сожгли бы чего мужики, не украли бы чего... Страшно с ней...»

Недалеко ушла от жизни Цыбукиных и жизнь

купцов Лаптевых в рассказе «Три года», по крайней мере в первом поколении их. Старик Лаптев—богач-миллионер, но о постановке его торгового дела его младший сын говорит: «...Ваш амбар не торговое учреждение, а застенок. Да, для такой торговли, как ваша, нужны приказчики обезличенные, обездоленные, и вы сами приготавливаете себе таких, заставляя их с детства кланяться вам в ноги за кусок хлеба, и с детства вы приучаете их к мысли, что вы—их благодетели».

Однако сам этот сын—уже человек с университетским образованием. Сделавшись сонаследником богатств, нажитых отцом, он старается завести у себя новые порядки, поставить дело на правильную коммерческую ногу. Нельзя сказать, чтобы он был совершенно доволен своим положением, но даже при условии несомненно удачно сложившейся семейной жизни он не падает духом, не ноет, не складывает пассивно рук. «Поживем—увидим»,—думает он, заглядывая в свое будущее.

А купец Лопахин в пьесе «Вишневый сад», которой, собственно, заканчивается творчество Чехова, идет еще дальше. Его стихия уже не самые деньги, не наживание и не обладание ими, а, так сказать, творчество с деньгами в руках. Весь он—воплощенная энергия и деятельность. Он так уверен в себе, в своих силах, что ему нет надобности быть алчным и жестоким хищником. «Ваш брат, вот Леонид Андреич, говорит

про меня, что я хам, я кулак, но это мне решительно все равно,—исповедуетея он перед помещицей Раневской.—Пускай говорит. Хотелось бы только, чтобы вы верили мне попрежнему, чтобы ваши удивительные, трогательные глаза глядели на меня, как прежде. Боже милосердный! Мой отец был крепостным у вашего деда и отца, но вы, собственно вы, сделали для меня когда-то так много, что я забыл все и люблю вас, как родную... больше, чем родную».

Лопахин купец, но купец, о котором студент Трофимов, лучший человек из всех, выведенных в пьесе, говорит: «Как никак, все-таки я тебя люблю. У тебя тонкие, нежные пальцы, как у артиста, у тебя тонкая нежная душа..»

И чувствуется, что этими тонкими артистическими пальцами, этой тонкой и нежной душой наделяет Ермолая Лопахина,—сына крепостного, битого, бегавшего зимой босиком в том самом имении, где дед и отец его были рабами, где их не пускали даже в кухню,—не студент Трофимов, а сам Чехов, прошедший такую же суровую школу, вышедший почти из той же среды и все же вынесший оттуда изумительно тонкую и нежную душу.

Таким нарисовал нам, уходя от нас, Чехов представителя того класса, с которым, видимо, связывалась его мысль о будущем.

Но одних только таких людей, как Лопахин, как бы говорит он своим последним произведением «Вишневый сад», не достаточно. Нужны

еще и те люди, о которых он писал И. И. Орлову в приводимом уже нами письме: «Я верую в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России там и сям—интеллигенты они, или мужики,—в них сила, хотя их мало».

Нужны люди веры, надежды, сильного и спокойного духа, такие люди, каким и изображен в «Вишневом саде» Петя Трофимов.

«Человечество идет вперед, совершенствует свои силы,—говорит его устами Чехов.—Все, что недостижимо для него теперь, когда-нибудь станет близким, понятным, только вот надо работать, помогать всеми силами тем, кто ищет истину». «Чтобы начать жить в настоящем, надо сначала искупить наше прошлое, покончить с ним, а искупить его можно только страданием, только необычайным, непрерывным трудом». Лопахину, предлагающему ему денег, он говорит: «Я могу обходиться без вас, я могу проходить мимо вас, я силен и горд. Человечество идет к высшей правде и высшему счастью, какое только возможно на земле, и я в первых рядах!» «Дойдешь?»—спрашивает его Лопахин. «Дойду,—отвечает он,—дойду, или укажу другим путь, как дойти».

И Трофимов не одинокая фигура в творчестве Чехова девяностых годов и начала нашего века,—чем дальше от восьмидесятых годов, тем больше в нем появляется людей исполненных бодрости, уверенности в приходе светлого

будущего, и не через тысячу, даже не через двести—триста лет, как думал Чехов раньше, а скоро, не сегодня—завтра.

Надя в рассказе «Невеста», просватанная за провинциального обывателя, накануне свадьбы уезжает из родного дома, едет учиться, а когда потом возвращается в свое захолустье, то на все уже смотрит другими глазами. Она «ходила по саду, по улице, глядела на дома, на серые заборы, и ей казалось, что в городе все давно уже состарилось, отжило, и все только ждет не то конца, не то начала чего-то молодого, свежего. О, если бы поскорее наступила эта новая, ясная жизнь, когда можно будет ясно и смело смотреть в глаза своей судьбе, сознавать себя правым, быть веселым, свободным! А такая жизнь рано или поздно настанет!»

Но ждать этого «рано или поздно», сложав руки, эти люди не хотят. Свою жизнь они сейчас же перестраивают на новый лад. Надя недолго пробыла в тихой заводи провинциального города, куда она приехала отдохнуть; скоро она «простилась со своими и живая, веселая, покинула этот город—как полагала, навсегда».

Буржуазия да отдельные личности, взятые вне какого-либо класса, что Чехов в соответствии со своими убеждениями, считал вполне реальным, личности, исполненные энергии, веры и настойчивости,—вот на ком, видимо, остановились социальные поиски и симпатии его под конец жизни.

Не раз во время этих поисков ходил Чехов и к «мужику», к крестьянину. Но не находил он здесь ничего такого, что могло бы питать его надежды на светлое будущее. Даже в одном из своих позднейших произведений, в повести «Мужики»—он такими мрачными красками рисует мужицкую жизнь: «Кто держит кабак и спаивает народ? Мужик. Кто растрчивает и пропивает мирские, школьные, церковные деньги? Мужик. Кто украл у соседа, поджег, ложно показал на суде за бутылку водки? Кто в земских и других собраниях первый ратует против мужиков? Мужик. Да, жить с ними было страшно...»

Таковы же мужики и в рассказе «Новая дача» и в повести «Три года» и везде, где Чехов подходил к изображению их жизни.

С мужиком Чехов, видимо, не связывал никаких надежд, когда думал о переустройстве жизни и о тех, кто будет работать над этим переустройством. И дальше простого призыва к гуманности, состраданию он даже и в последние годы своего творчества в этой области не пошел. «Да, жить с ними было страшно,—говорит он в повести «Мужики»,—но все же они люди, они страдают и плачут, как люди, и в жизни их нет ничего такого, чему нельзя было бы найти оправдания».

Чехов не увидел у этих людей уже сильно назревшего, веками накопившегося чувства протеста, не дожил он и до массового проявления этого их чувства. А если бы и увидел, если

бы и дожид, то, вне всякого сомнения, не одобрил бы со своей либерально-буржуазной точки зрения.

Почти полным молчанием обошел Чехов и пролетариат как класс. Даже в таких произведениях, которые по самому содержанию своему наталкивали его на то, чтобы заглянуть в рабочую жизнь, остановиться на ней повнимательнее, как повесть «В овраге», рассказы «Бабье царство», «Случай из практики», он только мимоходом, вскользь касается этой жизни и сейчас же уходит из фабричных корпусов в хоромы владельцев этих корпусов и к их душевным переживаниям.

Конечно, Чехов был против диких форм эксплуатации, против того, чтобы рабочие жили в грязных клоповниках, питались вонючей солониной, опаивались дурманной водкой («В овраге», «Вишневый сад», «Бабье царство»); он горячо восставал против эксплуатации детского труда («Письмо в деревню», «Спать хочется»), но все это опять-таки под влиянием того же, так естественного в нем, чувства гуманности. На точку зрения защиты классовых интересов пролетариата он никогда не становился.

...«Каждому свое»,—говорило одно старинное изречение.

Интеллигент, хотя бы и в лучшем смысле этого слова, демократ-либерал, каким мы его знаем во вторую половину и особенно под конец его жизни, Чехов горячо протестовал против вар-

варских форм эксплуатации человека человеком, протестовал против политического гнета, превращавшего страну в застенок («Палата № 6»), но не то что не хотел, а просто не мог воспринять идеологии чуждого ему класса пролетариата и стать ее защитником,—чуждого, конечно, не в индивидуальном, а именно, в классовом смысле.

Но и оставаясь таким, каким он был, неустанно борясь с обывательщиной, мещанством, пошлостью и узостью, разбивая все футляры, в которых так или иначе замыкался человек, он принес чрезвычайно большую пользу своему времени.

Да и не только своему.

«Мы живем среди порядочной мещанской душоты,—говорит А. В. Луначарский в своей оценке Чехова,—она душит нас и в деревне, и в провинции, и в столице. Она держит в своих когтях обывателя, она прочно вцепилась еще и в рабочего, и под ее злым крылом ютится слишком часто личная и семейная жизнь даже революционеров... Чехов как раз боролся не в области политики, где победа одержана полная (если говорить в русском масштабе), не в области экономики, где победа вчерне тоже одержана,—он работал в области культуры и быта, где мы еще очень, очень мало победили» (вступительная статья к полному собранию сочинений в изд. «Огонек»).

Победили мало, но победить нужно, и пока

эта победа еще впереди, творчество Чехова остается во всей своей силе и значении.

Таким представляется нам Чехов в отношении своей идеологии, вытекающей из рассмотрения его творчества.

Этим, конечно, вовсе не исчерпывается вопрос о других сторонах этого творчества.

Сами собой всплывают вопросы об его изумительной силе художника, о его поразительных по своей силе и сжатости описаниях картин природы, о которых он сам писал брату Александру: «У тебя получится лунная ночь, если ты напишешь, что на маленькой плотине яркой звездочкой мелькало стеклышко от разбитой бутылки и покатила шаром черная тень собаки или волка»; о его изумительной тонкости в изображении детской психологии; о нем как о создателе особого жанра повествования—в форме маленького рассказа; о нем как о родоначальнике особого театра,—театра настроений.

Но это уже задача не биографа, а литературоведа.

ВАЖНЕЙШИЕ ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАТЫ ИЗ ЖИЗНИ ЧЕХОВА

- 1860 г. 17 января. Рождение в Таганроге.
- 1868 г. Поступление в Таганрогскую гимназию. ✓
- 1876 г. Переезд отца на жительство в Москву. ✓
- 1879 г. Окончание курса в гимназии и поступление на медицинский факультет Московского университета.
- 1880 г. Первое выступление в печати («Письмо донского помещика к ученому соседу»).
- 1884 г. Окончание университета. Издание первого сборника рассказов—«Мельпомены».
- 1886 г. Начало сотрудничества в «Новом времени». Второй сборник рассказов—«Пестрые рассказы».
- 1887 г. Третий и четвертый сборники—«В сумерках» и «Невинные речи».
- 1888 г. Присуждение пушкинской премии Академии наук за сборник «В сумерках». ✓
- 1889 г. Смерть брата Николая.
- 1890 г. Поездка на Сахалин. ✓
- 1891 г. Первое путешествие за границу. ✓
- 1892 г. Приобретение имения Мелихово.
- 1897 г. Вторая поездка за границу. ✓
- 1898 г. Приобретение имения в Ялте. ✓ Смерть отца.
- 1900 г. Третья поездка за границу. ✓
- 1901 г. Избрание в почетные академики по отделу изящной словесности при Академии наук. Женитьба на О. Л. Книппер. ✓

1902 г. Отказ от звания академика в связи с инцидентом с Горьким.

1903 г. Избрание временным председателем Общества любителей российской словесности.

1904 г. Поездка в Баденвейлер для лечения.

1904 г. 2-июля. Смерть в Баденвейлере.

1908 г. Открытие памятника на месте смерти на средства, собранные Художественным театром.

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ТВОРЧЕСТВА

1880 г. Первое произведение Чехова: «Письмо донского помещика к ученому соседу».

1884 г. Первый сборник рассказов—«Сказки Мельпомены».

1886 г. Второй сборник—«Пестрые рассказы».

1887 г. Сборники: «В сумерках» и «Невинные речи». Пьеса «Иванов».

1889 г. Пьеса «Леший».

1891 г. «Дуэль».

1891—1893 г. «Сахалин».

1892 г. «Палата № 6», «Соседи».

1893 г. «Черный монах», «Володя большой и Володя маленький».

1894 г. «Три года».

1895 г. «Ариадна», «Чайка».

1896 г. «Дом с мезонином», «Моя жизнь».

1897 г. «Мужики», «В родном углу», «Печенег», «На подводе».

1898 г. «Дядя Ваня».

1899 г. «В овраге».

1900 г. «Три сестры».

1901 г. «Архиерей».

1903 г. «Невеста», «Вишневый сад».

ЛИТЕРАТУРА: ЧЕХОВ И О ЧЕХОВЕ

А. П. Чехов. Полное собрание сочинений с крит. биографич. очерком Измайлова А. А. Изд. Нар. ком. просвещения, 1923 г.

А. П. Чехов. Собрание сочинений под редакцией А. В. Луначарского. Приложение к журналу «Огонек» за 1929 г. (печатается).

А. П. Чехов. Собрание сочинений. Изд. Маркса.

А. П. Чехов. Избранные произведения. Под ред. Луначарского и Пиксанова.

Письма А. П. Чехова, под. ред. М. П. Чеховой. «Издательство писателей» в Москве.

А. П. Чехов. Несобранные письма. Ред. и предисл. Н. К. Пиксанова. Изд. Гиза.

В. Фейдер. А. П. Чехов. Литературный быт и творчество по мемуарным материалам, Л. Изд. «Academia», 1928 г.

А. В. Луначарский. Этюды. Гиз, М., 1922 г.

Его же. Литературные силуэты. Гиз, Л., 1925 г.

«А. П. Чехов». Сборник критических статей авторов-марксистов. Изд. «Никитинские Субботники», 1928 г.

И. Н. Кубиков. Великие писатели России. Изд. «Пролетарий», 1925 г.

М. П. Чехов. Антон Чехов и его сюжеты, Москва, 1923 г.

В. Л. Львов-Рогачевский. Новейшая русская литература, М., 1926 г.

М. С. Ольминский. По вопросам литературы. Изд. «Прибой», 1926 г.

Е. А. Соловьев (Андреевич). Очерки по истории новейшей русской литературы, изд. IV, 1923 г.

В. А. Евгеньев-Максимов. Очерки истории новейшей русской литературы, Л., 1925 г.

Я. Назаренко. История русской литературы XIX в., изд. 3-е, Л., 1926 г.

Батюшков. История русской литературы. Изд. «Мир», т. V.

СОДЕРЖАНИЕ

Жизнь Чехова

Стр.

Автобиография	3
Происхождение	5
Детство	8
Школьное образование	18
Переезд в Москву и поступление в университет	24
Литературная деятельность первого периода	27
Окончание университета и врачебная деятельность . .	36
Продолжение литературной деятельности	38
Путешествие на Сахалин	42
Идеология Чехова в конце восьмидесятых годов . . .	46
Первая поездка за границу	57
Деятельность Чехова в годы голода и холеры	59
Общий обзор общественной деятельности	61
Приобретение усадьбы в Мелихове	64
Болезнь	69
Вторая и третья поездки за границу	70
Дача в Крыму	71
Избрание в почетные академики и отказ от этого звания	76
Женитьба на О. Л. Книппер	78
Чехов в предсмертные годы	81
Последние дни и смерть	84

Творчество Чехова

Начало творчества — период беззадумчивого смеха . .	88
Восьмидесятые годы. Вторая их половина	92
Девяностые и девятисотые годы	101
Важнейшие хронологические даты жизни Чехова . . .	117
Краткая хронологическая таблица творчества	119
Литература: Чехов и о Чехове	120